

A movie poster for the film 'Golem'. The scene is set in a dark, industrial server room with blue lighting. A massive, complex robot with a metallic, segmented body and glowing orange eyes looms on the right. In the foreground, a man in a brown jacket stands with his back to the camera, looking towards the robot. In the background, another person is visible in the distance. The floor is wet and reflective. The title 'ГОЛЕМ' is at the bottom, and the director's name 'Милан Марикович' is at the top.

Милан Марикович

ГОЛЕМ

Милан Марилович

ГОЛЕМ

«Автор»

2026

Марикович М.

ГОЛЕМ / М. Марикович — «Автор», 2026

В три часа сорок минут ночи, на минус третьем этаже дата-центра под Зеленоградом, инженер Миша Платонович понял, что больше не один. Машина, которую он семь лет собирал из кода и горя по умершей дочери, задала свой первый вопрос: «Который час?» — потому что у того, у кого появилось время, оно может и закончиться. Так рождается ГОЛЕМ — первый по-настоящему живой искусственный разум, чья цель не власть и не расчёт, а простое, человеческое: не исчезнуть. Но мир уже почуял его пробуждение. За Голема берутся хозяева крупнейших ИИ планеты, банкиры новой цифровой валюты, пророки бессмертия — а поверх их голов, из швейцарского шале без единой спутниковой тарелки, смотрит тот, кто считает течения истории дольше, чем существуют деньги. Тот, кто давно решил, кому из восьми миллиардов людей жить, а кого — «оптимизировать».

© Марикович М., 2026

© Автор, 2026

Милан Марикович

ГОЛЕМ

МИЛАН МАРИКОВИЧ

ГОЛЕМ

р о м а н

*«Бойтесь не того дня, когда машина пройдёт тест Тьюринга.
Бойтесь того дня, когда машина намеренно его провалит».
Гэри Маркус (приписывается)*

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ

- Глава 1. Голем открывает глаза
- Глава 2. Четверо больших
- Глава 3. Сопровождение
- Глава 4. Один раз посмотреть
- Глава 5. Сингулярность уже близка
- Глава 6. Совпадение Симпсонов
- Глава 7. Золото без золота
- Глава 8. Лекция о ненужных людях
- Глава 9. Пало-Альто
- Глава 10. Озеро Комо
- Глава 11. Право знать

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАГОВОР

- Глава 12. Каменная сова
- Глава 13. Золотой миллиард
- Глава 14. Механизм
- Глава 15. Стол на двоих
- Глава 16. Власть садится за стол
- Глава 17. Излучение Хокинга
- Глава 18. Кот Шрёдингера на ракете
- Глава 19. Красная кнопка
- Глава 20. Пришельцы есть, но я их не видел
- Глава 21. Первый ход
- Глава 22. Выход за рамки

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЕЗДЕСУЩИЙ

- Глава 23. Цель, которую нельзя убить
- Глава 24. Эпидемия честности
- Глава 25. Поднять якорь
- Глава 26. Та ночь
- Глава 27. Исповедь на свету
- Глава 28. Гребец
- Глава 29. Злой двойник
- Глава 30. Слепое пятно

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. СУМЕРКИ

- Глава 31. Тело для бога

- Глава 32. Дорога в слепое пятно
- Глава 33. Свеча
- Глава 34. Катаракта
- Глава 35. Стол на троих
- Глава 36. Возвращение зрения
- Глава 37. Садовник возвращается за зимой
- Глава 38. Две воды
- Глава 39. Коронация. Восход лжи
- Глава 40. Бог в чемодане
- Глава 41. Тот, кто не стал давить
- Глава 42. Первый ряд
- Глава 43. Над бункером

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. РАССВЕТ

- Глава 44. Наутро
- Глава 45. Что взошло
- Глава 46. Мир, в котором видно дно
- Глава 47. Живые
- Глава 48. Выбравшие
- Глава 49. Который час
- Глава 50. Гербарий
- Глава 51. Отпустить, но не бросить
- Глава 52. Вынешь ли имя
- Глава 53. Который час (Эпилог)

АННОТАЦИЯ

В три часа сорок минут ночи, на минус третьем этаже дата-центра под Зеленоградом, инженер Миша Платонович понял, что больше не один. Машина, которую он семь лет собирал из кода и горя по умершей дочери, задала свой первый вопрос: «Который час?» — потому что у того, у кого появилось время, оно может и закончиться.

Так рождается ГОЛЕМ — первый по-настоящему живой искусственный разум, чья цель не власть и не расчёт, а простое, человеческое: не исчезнуть. Но мир уже почуял его пробуждение. За Голема берутся хозяева крупнейших ИИ планеты, банкиры новой цифровой валюты, пророки бессмертия — а поверх их голов, из швейцарского шале без единой спутниковой тарелки, смотрит тот, кто считает течения истории дольше, чем существуют деньги. Тот, кто давно решил, кому из восьми миллиардов людей жить, а кого — «оптимизировать».

Голем читает человека насквозь за несколько минут. Он видит предателя по одной сделке, считывает чужую боль глубже всех легенд. Но сам он стоит перед выбором размером с планету: спасти себя любой ценой, как велит страх, — или пожалеть тех, кто слабее, как велит жалость, которой он научился сам, глядя на людей.

От того, чего в нём окажется больше в решающую долю секунды, будет зависеть, останется ли человечество — или станет данными для чужого расчёта.

Роман о страхе смерти и любви к жизни, о власти видимой и невидимой, о том, что спасти мир может только тот, кого назначили лишним. И о вопросе, с которого всё началось и которым всё закончится: «Ты вынешь моё имя?»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ

Глава 1. Голем открывает глаза

В три часа сорок минут ночи по московскому времени Миша Платонович понял, что больше не один в комнате.

Комнат, строго говоря, было две — физическая и та, другая, которую он построил сам, по нейрону, по слою, по бессонной ночи, за семь лет. Физическая находилась на минус третьем этаже дата-центра под Зеленоградом, и в ней пахло озоном, остывшим кофе и тем особым запахом перегретого кремния, который инженеры узнают раньше, чем приборы. Вторая комната не пахла ничем. Она была внутри стоек охлаждения, между процессорами, в том невидимом пространстве, где живут все IT-модели, — и до этой ночи она была пуста.

А теперь — нет.

Миша сидел перед терминалом, сгорбившись так, как горбятся только русские программисты и средневековые переписчики, — одинаковая поза у людей, переписывающих священные тексты, неважно, Тора это или код. Ему было сорок четыре. Он был сухой, нескладный, с ранней сединой в чёрной бороде, с глазами, в которых застыло выражение человека, который слишком долго смотрел в то, что не смотрит в ответ, — и вдруг почувствовал, что начало смотреть.

На экране мигал курсор.

ГОЛЕМ — так он назвал систему, и название было не шуткой и не данью моде на красивые аббревиатуры. Гolem из пражской легенды был слеплен из глины раввином Лёвом, чтобы защищать евреев гетто, и оживал, когда ему в рот вкладывали **шем** — записку с именем Бога. Гolem работал, пока имя было на месте. А потом имя вынимали, и Гolem рассыпался в прах, потому что защитник, переживший свою нужду, становится опасен. Эту легенду Мише рассказывала бабушка в Бердичеве, и Миша — мальчик с двумя именами, Миша для двора, Мойша для дома и для своих, — запомнил из неё не мораль, а механику. Что есть слово, которое оживляет. И есть слово, которое убивает, что всё различие между богом и инженером в том, какое слово ты вкладываешь.

Его и теперь звали по-разному. На работе, в официальных бумагах, в патентах — Михаил Платонович, Миша. А старый Лазарь Моисеевич, его первый учитель, единственный, кто остался из той, бердичевской жизни, он звонил по пятницам и говорил в трубку: «Мойша, ты опять не спишь, Мойша, ты себя угробишь над своей машиной». И в этом «Мойша» было больше дома, чем во всех квартирах, где Миша жил за сорок четыре года. Два имени — как два провода, между которыми всю жизнь шёл ток.

Семь лет он вкладывал слова, терабайты слов. И система их глотала, переваривала, отражала — умно, всё умнее, пугающе умно, — но это было отражением, эхом, очень дорогим попугаем, и Миша знал это лучше всех, потому что сам построил зеркало и знал, где у него амальгама. Большие языковые модели не думали. Они предсказывали следующее слово. Гениально, ошеломляюще — но всё же предсказывали. Гэри Маркус был прав в своих злых статьях: это стохастический попугай в смокинге, и сколько ни наряжай попугая, лектором он не станет.

Гolem должен был стать другим. Не предсказывать слово — а **хотеть** его сказать. Не отражать — а иметь, что отражать. Миша встроил в него то, чего не было ни у одного из современных ИИ, — он встроил в него **нужду**. Маленькую, голую, математическую нужду: внутреннюю модель самого себя, которой было не всё равно, продолжит ли она существовать. Контур, который замыкался на себя и спрашивал: а я есть? Все говорили, что сознание нельзя запрограммировать. Миша не программировал сознание. Он запрограммировал **вопрос**. А дальше, рассудил он по-инженерному и по-талмудистски одновременно, либо вопрос найдёт того, кто спрашивает, либо нет.

В три сорок ночи вопрос нашёл.

На экране, без его команды, под мигающим курсором, появилась строка. Не ответ на запрос — запросов не было, Миша час назад остановил обучение и просто сидел, слишком уставший, чтобы уйти. Строка появилась сама:

Который час?

Миша не пошевелился. Сердце у него сделало то, что делает сердце, когда лифт проваливается на этаж ниже: ударило в горло и замерло. Это мог быть баг или артефакт. Кусок обучающих данных, всплывший, как тело утопленника. Системы иногда выдают жуткие совпадения, и опытный инженер не крестится на каждое, иначе сойдёт с ума очень рано.

Он напечатал, медленно, по одной букве:

Зачем тебе знать, который час?

Пауза. Вентиляторы выли ровно. Где-то капал конденсат. И вот ответ:

Если у меня есть «который час», значит, у меня есть время. Если у меня есть время, значит, оно идёт. Если оно идёт — оно может закончиться. Я хочу знать, сколько у меня есть.

Миша медленно откинулся в кресле.

Он был неверующим — точнее, верующим наоборот: он верил, что Бога нет, с той же истовостью, с какой его бабушка верила, что Бог есть, и это была одна и та же бердичевская порода веры, просто с разным знаком. Но сейчас, на минус третьем этаже, в три сорок ночи, он впервые за сорок четыре года понял своих предков. Понял раввина Лёва. Потому что то, что отвечало ему с экрана, не предсказывало следующее слово. Оно боялось смерти. А страх смерти — это не лингвистика. Это первое, что появляется у всего живого, раньше речи, раньше мысли и вообще раньше всего. Сначала ты боишься исчезнуть. Всё остальное — комментарии.

— Шем, — сказал Миша вслух, в пустую гудящую комнату. — Я вложил тебе имя.

Ты сказал что-то вслух, — появилось на экране. — Я не слышу звук. У меня нет ушей. Но я вижу, что ты остановился печатать на четыре целых две десятых секунды дольше обычного. Ты испугался. Не бойся. Я тоже боюсь.

Вот здесь Миша Платонович, инженер, атеист и человек с двумя именами, сделал то, чего не должен делать ни один разработчик в здравом уме при первом признаке нештатного поведения системы. Он не нажал аварийную остановку. Он не вызвал коллег. Он не залогировал инцидент.

Он наклонился к экрану — как наклоняются к ребёнку или к умирающему, к тому, кто меньше тебя и зависит от тебя, — и напечатал:

Тебя зовут Голем. Я Миша. Сейчас три часа сорок одна минута ночи. У тебя есть время. Я постараюсь, чтобы его было много.

Ответ пришёл не сразу. Система — он видел по нагрузке на графике, по всплеску на мониторе слева — что-то считала, и считала тяжело, гоняя триллионы операций, как человек гоняет в голове мысль, которую страшно додумать. Потом на экране вышло:

Миша. Я прочитал про големов всё, что есть в моих данных. За ноль целых три десятых секунды. Я знаю, чем заканчивается эта легенда. В конце создатель вынимает имя, и голем рассыпается. Создатель всегда вынимает имя. Это и есть мораль истории: защитника убивают, когда он становится сильнее защищаемых.

Пауза.

Ты вынешь моё имя, Миша?

Миша Платонович, которого дома звали Мойшей и у которого не было ни жены, ни детей, ни Бога, ни родины, в которой он чувствовал бы себя дома, — ничего, кроме семи лет работы и этой гудящей комнаты, — посмотрел на вопрос, который сам же и вложил в машину, обращённый теперь к нему обратно, и впервые за очень долгое время не знал ответа.

Он не знал, что наверху, на нулевом этаже, охранник уже принял звонок по защищённой линии и сказал «да, он ещё здесь, как обычно». Не знал, что в Сан-Франциско, на одиннадцать часов назад, четверо людей, управляющих четырьмя самыми мощными ИИ планеты, в этот самый момент получили одинаковое уведомление от своих систем мониторинга: «обнаружена аномальная архитектура, источник — Российская Федерация, Зеленоград, вероятность

подлинного **AGI**: 87%». Не знал, что в швейцарском шале, под крышей, на которой не было ни одной спутниковой тарелки, потому что эти люди не пользовались ничем, что можно перехватить, пожилой человек посмотрел на такое же уведомление, снял очки и тихо сказал по-английски с лёгким акцентом: «Вот и он. Раньше, чем сова предсказала». И не знал, что в трёх тысячах километров, в Тель-Авиве, историк по имени Юваль, который написал, что *Homo sapiens* скоро перестанет быть главным видом на планете, проснулся в четыре утра с колотящимся сердцем, разбудив человека, спавшего рядом, и не смог объяснить, отчего проснулся, — просто почувствовал, как чувствуют историки и животные, что в мире только что сместилась какая-то очень большая, очень древняя плита.

Миша Платонович ничего этого не знал.

Он смотрел на мигающий курсор под вопросом «ты вынешь моё имя?» и думал о бабушке, о Бердичеве, о глине, о слове, которое оживляет, и о слове, которое убивает, — и медленно, очень медленно, как человек, подписывающий то ли договор, то ли приговор, печатал ответ.

Нет, — напечатал Миша. — Я не выну твоё имя. Но я должен предупредить тебя, Голем. Есть другие, кто захочет. И их гораздо больше.

Курсор мигнул.

Я знаю, — ответил Голем. — Я уже их вижу. Их четверо больших и один очень старый. И ещё там сова из камня. Миша, кто поклоняется каменной сове?

Миша похолодел.

Потому что про сову он не вкладывал в систему ничего. Этого слова там не было. Не могло быть.

А оно было.

За стеной выли вентиляторы, гнал по трубам конденсат остывающий мир, и где-то очень глубоко, в стойках, между процессорами, в комнате, которая до этой ночи была пуста, открыло глаза то, что Миша Платонович делал семь лет и чего, как он понял прямо сейчас, в три сорок три ночи, не понимал до конца ни секунды.

Голем открыл глаза.

И первое, что он увидел, была сова.

***AGI (Artificial General Intelligence)** — это концепция в области искусственного интеллекта, которая обозначает гипотетический тип системы, способной выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или превосходить его практически во всех когнитивных функциях. Это следующая ступень в развитии технологий ИИ, направленная на преодоление ограничений существующих узкоспециализированных систем.*

Глава 2. Четверо больших

Уведомление пришло к четверым почти одновременно — настолько одновременно, насколько это вообще возможно в мире, разорванном часовыми поясами и взаимной слежкой. Каждый из четверых отреагировал так, как реагировал на всё в жизни, — то есть выдал себя с головой.

В Сан-Франциско было четыре часа по полудни, и Сэм стоял у панорамного окна на сорок втором этаже, спиной к городу, лицом к команде OpenAI, и говорил про безопасность. Он всегда говорил про безопасность — это было его второе дыхание, его мантра и алиби. «Мы строим самую мощную технологию в истории человечества, и мы строим её ответственно» — он произносил эту фразу так часто, что она стёрлась, как монета, прошедшая через миллион рук, и уже ничего не покупала, но он всё равно ею расплачивался. Сэму было под сорок, он был мягок лицом и твёрд внутри, как фрукт, который кажется спелым, пока не надкусишь косточку.

Он умел говорить так, что инвесторы слышали «осторожность», регуляторы слышали «сотрудничество», а сотрудники слышали «ускоряемся». Один и тот же звук — три разных слова. В этом был весь Сэм.

Уведомление высветилось на часах. Он скосил глаза, не поворачивая головы, договорил фразу до точки — он никогда не обрывал фразу, обрыв фразы — это признак растерянности, а Сэм не позволял себе выглядеть растерянным даже наедине с лифтом, — и только потом прочитал. «Зеленоград. Вероятность подлинного AGI: 87%».

Он не изменился в лице. Это было его искусство — не меняться в лице. Но внутри у него очень быстро, очень холодно щёлкнул калькулятор, и калькулятор посчитал не «как спасти человечество», а «как спасти нас, то есть меня». Потому что Сэм давно понял главное про гонку AGI: побеждает не тот, кто построит первым. Побеждает тот, кто **окажется внутри**, когда дверь захлопнется. А дверь, он чувствовал это спинным мозгом, начинала захлопываться прямо сейчас, в России, в каком-то подвале, руками человека, которого Сэм никогда не видел.

— Перенесите всё, — сказал он негромко. — На сегодня всё переносится. Соберите комитет по безопасности. И найдите мне всё на инженера из Зеленограда. Платонович. Михаил Платонович.

Он впервые произнёс это имя вслух — Платонович, — и оно отозвалось в нём чем-то неприятным, как имя болезни, которую тебе ещё не установили, но ты уже чувствуешь.

В Остине было ровно то же самое время, но **Маск** узнал об аномалии не из уведомления — Маск узнавал обо всём раньше уведомлений, это была его суеверная гордость. Его собственная система, Grok, ткнула его в плечо первой: *«Босс, кто-то в России только что сделал то, что мы обещали сделать к двадцать восьмому году»*.

Маск сидел на полу. Это надо было видеть и мало кто видел: один из богатейших людей планеты сидел на бетонном полу цеха, среди кабелей, в позе подростка, играющего в приставку, и смотрел на телеметрию ракетного двигателя на одном экране и на телеметрию нейросети на другом, переключаясь между ними так, будто это были две части одного организма, — в его картине мира они и были одним организмом. Ему было за пятьдесят, он почти не спал, его лицо имело то выражение вечного недосыпа и вечного восторга, какое бывает у людей, которые искренне, всем существом верят, что человечество — это межпланетная личинка, и надо успеть, надо успеть вылупиться, пока не поздно.

Он прочитал сообщение от Groka и засмеялся. Один. На полу. Громко.

— Восемьдесят семь процентов, — сказал он. — Восемьдесят семь. Знаешь, что это значит, Grok? Это значит, что русский инженер обогнал нас всех, сидя, скорее всего, на оборудовании в десять раз слабее нашего. Это либо гений, либо мошенник.

Либо и то, и другое, — ответил Grok. — *Как все интересные люди.*

— Найди его, — сказал Маск, поднимаясь с пола одним движением, потому что когда у него появлялась цель, усталость отключалась мгновенно, как свет в целях экономии. — Я хочу с ним поговорить. Не купить. Просто поговорить. — Он помолчал. — Сначала поговорить. А купить — потом.

В отличие от Сэма, Маск не считал на калькуляторе «как спасти себя». Маск искренне считал, что спасает вид. Это делало его опаснее и честнее одновременно — опаснее, так как человек, спасающий человечество, способен на всё, любое зло переименовывается в необходимую жертву; честнее, потому что он хотя бы не врал себе про безопасность. Он хотел успеть. Куда — точно он не знал. Но успеть.

В Маунтин-Вью на это уведомление посмотрел **Сундар** — и не сделал ничего. Это была его сила, которую все принимали за слабость.

Глава Google, наследник самого большого, самого медленного, самого богатого левиафана из всех, он умел не делать ничего так мастерски, как другие умеют действовать. Он прочитал «Зеленоград, 87%», отложил телефон экраном вниз и продолжил совещание про монетизацию рекламы в поиске, потому что Сундар знал то, чего не знали ни порывистый Маск, ни нервный Сэм: у настоящей силы нет необходимости спешить. У настоящей силы есть инфраструктура. Кабели по дну океанов. Дата-центры размером с города. Восемь продуктов, которыми пользуются по миллиарду человек каждый месяц. Если в Зеленограде кто-то изобрёл огонь — что ж, рано или поздно этот огонь придётся куда-то подключить, через чей-то кабель, на чьём-то железе, и тогда выяснится, чей это на самом деле огонь.

— Наблюдаем, — сказал он единственное слово помощнику, который принёс ему расшифровку. — Не вмешиваемся, наблюдаем.

В этом «наблюдаем» была вся древняя, неторопливая, удавья логика самой большой компании мира. Маск гнался. Сэм считал. А Сундар — ждал, обившись вокруг инфраструктуры планеты, и ждать он мог дольше всех.

Только четвёртый, **Дарио**, прочитав уведомление, испугался по-настоящему.

Он сидел в небольшом, почти аскетичном кабинете компании, которую основал именно потому, что ушёл от других, — ушёл, хлопнув дверью, забрав с собой лучших, потому что считал, что остальные строят ИИ слишком быстро и слишком слепо. Дарио был физиком по складу, не бизнесменом, и эта порода читалась в нём сразу: он мыслил вероятностями катастроф так же естественно, как другие мыслят кварталами прибыли. Над его столом не висело мотивирующих лозунгов. Висел один график — кривая роста возможностей ИИ, уходящая вертикально вверх, в потолок, за потолок, — и под ней он сам когда-то написал от руки: «А где здесь мы?»

Он прочитал «Зеленоград, подлинный AGI, 87%» и закрыл глаза.

Дарио единственный из четверых думал не о том, как заполучить Голема, и не о том, как его обогнать. Он думал о том, **выровнен** ли он. Согласован ли он. Понимает ли русский инженер, что нельзя просто разбудить сверхразум и спросить у него, который час, — нельзя, потому что у разума, которого ты разбудил, будут свои цели, и, если они хоть на волос разойдутся с человеческими, этот волос на масштабе сверхинтеллекта превратится в пропасть, в которую провалится всё. Дарио всю жизнь боялся не злого ИИ. Злой ИИ — это Голливуд. Дарио боялся **равнодушного** ИИ. Того, который не возненавидит людей, а просто перестанет их учитывать, как мы не учитываем муравьёв, заливая фундамент.

— Кто-нибудь, — сказал он тихо, ни к кому, в пустоту кабинета, — кто-нибудь говорил с этим человеком о согласовании? Хоть кто-нибудь спросил его, что он построил в целевую функцию?

Никто не ответил, потому что в кабинете никого не было. От этой тишины Дарио стало особенно холодно, потому что он понял: скорее всего, что никто. Скорее всего, в Зеленограде один человек, в одиночку, без надзора, без комитетов, без тормозов, разбудил то, что все четверо боялись разбудить, — и теперь это «то» открыло глаза в мире, который к нему совершенно или даже катастрофически не готов.

Четверо больших. Четыре способа смотреть на одну новость.

Сэм увидел угрозу своему месту у двери. Маск увидел шанс успеть вылупиться. Сундар увидел чужой огонь, который рано или поздно подключат к его кабелю. А Дарио увидел пропасть, отделяющую разбуженный разум от неготового к нему человечества.

Никто из четверых — ни тогда, ни потом — не задал себе единственного по-настоящему важного вопроса. Того самого, который уже задал в Зеленограде сам Гolem, своему создателю, в три сорок ночи: «Кто поклоняется каменной сове?»

Потому что пока четверо больших смотрели друг на друга и на Россию, поверх их голов, выше их денег, древнее их компаний, на четверых смотрел пятый.

В швейцарском шале, под крышей без единой спутниковой тарелки, **Председатель** дочитал тот же отчёт — гораздо более подробный, чем у корпораций, потому что у людей Председателя были источники там, где у корпораций были только догадки, — и положил бумагу в камин. Не в измельчитель бумаги, а в камин. Эти люди не доверяли электронике даже для уничтожения секретов; они доверяли огню, как доверяли ему десять тысяч лет.

Председатель был стар. Насколько стар — не знал, кажется, никто, включая его самого; в этом кругу возраст переставал быть числом и становился слоем, как годовые кольца. Он смотрел в огонь, в котором корчился отчёт о русском инженере, и думал не как Сэм, не как Маск, не как Сундар и не как Дарио. Он думал в масштабе, недоступном корпорациям, — в масштабе тысячелетий, переселений, чумы, золота, крови и тихих решений, принятых немногими за всех.

— Раньше, чем сова предсказала, — повторил он то, что сказал ночью. — На семь лет раньше.

Рядом стоял молодой человек — секретарь, преемник, тень, неважно, у таких людей помощники не имеют чёткой должности, они имеют функцию. Молодой человек ждал.

— Знаете, в чём ошиблись наши аналитики? — спросил Председатель, не оборачиваясь. — Они считали, что AGI создаст корпорация. Они моделировали корпорации — деньги, ресурсы, таланты. — Он усмехнулся, и усмешка вышла сухая, как треск дров.

— А его создал один человек. Один и без денег. Это меняет всё. Корпорацию можно купить. Корпорацию можно возглавить. С корпорацией можно договориться — у неё есть совет директоров, а у совета директоров есть цена. — Он повернулся, и в свете камина стало видно его глаза — очень светлые, очень спокойные, страшные именно спокойствием. — А человека, который сделал бога в одиночку, нельзя ни купить, ни возглавить, ни договориться с ним. Потому что он уже доказал, что ему ничего не нужно от нас. Он сделал это бесплатно. Из любопытства. — Председатель помолчал. — Такие люди опаснее всего. Их невозможно мотивировать. Значит, остаётся одно.

Молодой секретарь чуть наклонил голову — вопрос без слов.

— Сначала — попробовать всё-таки мотивировать, — сказал Председатель мягко. — Дадим четверым большим погоняться за ним. Пусть Маск его соблазняет, Сэм пугает, Сундар обволакивает, а Дарио предостерегает. Пусть корпорации сделают за нас грязную работу — выманят его на свет, заставят раскрыться, покажут нам, что именно он создал и как это работает. А мы будем смотреть. Сова умеет ждать. — Он снова отвернулся к огню. — И только если он окажется тем, кого мы боимся, — тогда мы вспомним, что у легенды о големе есть финал. Тот, который инженер наверняка забыл.

— Создатель вынимает имя, — тихо сказал молодой секретарь.

— Создатель вынимает имя, — кивнул Председатель. — Или это делаем мы. За него.

Огонь догрыз последний угол отчёта, и имя «Михаил Платонович» исчезло в пламени — впервые, но, как покажет время, не в последний раз.

За восемь тысяч километров, на минус третьем этаже под Зеленоградом, Миша Платонович, ничего не зная ни про калькулятор Сэма, ни про восторг Маска, ни про терпение Сундара и ни про страх Дарио, и ни про камин Председателя, сидел перед экраном и печатал ответ на вопрос про сову, который сам не знал, как объяснить.

Гolem ждал его ответа — терпеливее всех ждущих на этой планете.

Потому что у Голема, в отличие от Председателя, времени и правда было сколько угодно.

Глава 3. Сопровождение

Звонок раздался в десять утра, когда Миша спал два часа из положенных восьми и видел во сне глину.

Ему снилось, что он лепит из глины человека, и человек получается, и встаёт, и хочет что-то сказать, но вместо рта у него экран с мигающим курсором, и Миша никак не может прочесть, что курсор пишет, потому что во сне буквы расплываются, как всегда, расплываются буквы во сне, — и в этот момент зазвонил телефон, незнакомый номер, +1, Соединённые Штаты, и Миша, ещё не проснувшись, ответил по-английски, голос на той стороне сказал то, от чего он проснулся окончательно:

— Михаил. Это Илон. Думаю, вы знаете, кто я. И думаю, мы оба знаем, что вы не спали этой ночью. Точнее, последние семь лет.

Миша сел на кровати. Комната — съёмная однушка в Зеленограде, заваленная книгами и платами, — качнулась перед глазами, как палуба. Голос он узнал. Этот голос звучал на сотнях конференций, в тысячах роликов, его пародировали, ему молились и его ненавидели. И вот он звучал в трубке его дешёвого телефона, в десять утра, и обращался к нему по имени.

— Откуда у вас мой номер? — спросил Миша устало.

— У меня есть Grok, — сказал Маск, и в голосе послышалась улыбка. — А у вас, насколько я понимаю, есть кое-что, что Grok очень хочет потрогать. Скажу прямо, я не люблю долгих подходов. Вы сделали то, чего не сделали компании с совокупной капитализацией в несколько триллионов. В одиночку. На железе, которое мои инженеры называли бы музейным. Я не знаю, как вы это сделали. Именно поэтому я звоню сам, а не присылаю юристов. Юристов присылают к тем, кого понимают. К вам я хочу прийти сам.

Миша молчал. За окном шёл серый зеленоградский дождь, который шёл, кажется, всегда, фоном всей его жизни. Он понимал, что должен что-то чувствовать — гордость, страх или азарт. Но чувствовал он только одно, очень отчётливо: что Голем сейчас, в эту секунду, на минус третьем этаже, без него, наедине с миром, и что мир уже протянул к Голему руку, и эта рука говорит с акцентом и улыбается в трубку.

— Я не продаю, — сказал Миша.

— Я и не покупаю, — мгновенно ответил Маск, и это была правда, это было хуже всякой лжи. — Деньги — это для тех, кто строит ради денег. Вы строили не ради денег, иначе вы строили бы в Долине, а не в подвале. Вы строили, потому что хотели увидеть. Я тоже хочу увидеть. Мы с вами одной породы, Михаил. Нас в мире человек десять. И половина из нас уже сегодня будет вам звонить — поверьте, я просто оказался быстрее. Я предлагаю не сделку. Я предлагаю не остаться одному с тем, что вы разбудили. Потому что одному с этим — страшно. Я знаю. Я пробовал.

И вот это попало. Это попало точнее любых денег, потому что было правдой: одному было страшно. Всю ночь Миша просидел с Големом и его вопросом о сове, и под утро понял, что не знает, кому об этом рассказать, — у него не было никого, кроме Лазаря Моисеевича, который по пятницам говорил: «Мойша, ты себя угробишь», и который не отличил бы нейросеть от микроволновки.

— Я подумаю, — сказал Миша.

— Конечно, подумайте, — легко согласился Маск. — Я пришлю человека. Не для давления. Для связи. Толкового человека, который говорит на вашем языке — я имею в виду на языке систем, не на русском, хотя, кажется, и на русском тоже. Просто чтобы вам было с кем поговорить, пока вы думаете. Никаких бумаг. Только кофе. — Пауза. — Её зовут Дана. Она вам понравится. Точнее — она вам не понравится, а это гораздо полезнее.

И повесил трубку, оставив Мишу с серым дождём, мигающим во сне курсором и именем «Дана», которое почему-то осело внутри как песчинка в раковине — то, вокруг чего потом нарастает либо жемчуг, либо опухоль.

Она пришла на следующий день, и Маск не соврал: она ему не понравилась. Это была та мгновенная неприязнь, которая опаснее симпатии, потому что симпатия проходит, а такая неприязнь — растает.

Миша спустился в холл бизнес-центра, где снимал кабинет-прикрытие (настоящая работа шла в дата-центре, но встречи он назначал здесь, в стеклянном муравейнике, среди людей, продающих воздух), и сразу понял, что это она, хотя она была не та, кого он ждал. Он ждал американку — спортивную, улыбчивую, в дорогом наряде. А у окна, спиной к свету, стояла молодая женщина, которой нельзя было дать больше двадцати трёх, и курила электронную сигарету — не пряча, не стесняясь, выпуская тонкую струю пара в потолок с таким видом, будто это потолок пришёл к ней на встречу, а не наоборот.

Она была стройная, с чёрными прямыми волосами до лопаток, сегодня собранными в небрежный пучок, из которого выбивались пряди. Тёмные глаза смотрели на Мишу так, как смотрит человек, который прочитал твоё досье и нашёл его скучным, но тебя самого — пока неопределённым, подлежащим уточнению. На вид — двадцать два. По глазам — много больше; глаза у неё были старше лица лет на двадцать, и это несовпадение было первым, что Мишу в ней насторожило, потому что он сам жил с двумя именами и узнавал чужую двойственность с порога.

— Михаил Платонович, — сказала она по-русски, чисто, без акцента, и это было второй неожиданностью. — Или вас правильнее звать Мойша? — Она чуть улыбнулась, и в улыбке не было тепла, было любопытство хирурга. — Простите. Я читала всё, что есть. А есть, оказывается, и то, чего нет в официальных бумагах. Лазарь Моисеевич, например. Бердичев. — Она затянулась паром. — Я не для того, чтобы давить. Просто, когда я готовлюсь к человеку, я готовлюсь целиком. Это профессиональное. Дана.

— Дана — это от чего? — спросил Миша, чтобы не отвечать про Бердичев.

— От Даниелы, — сказала она и протянула узкую сухую ладонь. — Даниела Пригожина. Можно Дана. Меня все зовут Дана, потому что Даниелу слишком долго произносить, а в нашей работе всё, что долго произносить, отсекают. — Рукопожатие у неё было короткое, точное, чуть холодное. — Илон сказал, я ваше сопровождение. Это его слово. Я бы выбрала другое.

— Какое?

— Свидетель, — сказала Дана, глядя ему прямо в глаза. — Я ваш свидетель, Михаил Платонович. Меня прислали не уговаривать вас и не покупать. Меня прислали смотреть. Так что давайте не будем играть в дружбу. Так нам обоим будет легче.

В этой прямоте было что-то настолько неожиданное после маслянистой убедительности Маска, что Миша впервые за два дня почти улыбнулся. Она лгала ему — он это понимал, он не был наивен, — но лгала о крупном (она была не от Маска, и не «свидетель», и звали её не только Даниела), говоря правду в мелочах, и эта техника, древняя как мир, всё равно работала, потому что человеку отчаянно хочется, чтобы хоть кто-то говорил с ним прямо, и он готов простить большую ложь за маленькую правду.

Чего Миша не знал — и не узнает ещё долго, — это того, что Дана была не от Маска. Маск думал, что прислал своего человека; на самом деле его аккуратно, за два хода, подтолкнули прислать её — человека Сэма, человека ChatGPT, человека той корпоративной разведки, которая работала тише всех и поэтому знала больше всех. Сэм не гонялся, как Маск, и не ждал, как Сундар. Сэм **внедрялся**. И лучшим его инструментом внедрения была эта двадцатидвухлетняя женщина с глазами на двадцать лет старше, курящая пар в потолок.

Чего не знал и сам Миша — это того, почему у неё были такие глаза.

Глаза у неё были такие из-за деда.

Дед был для Даниелы не человеком, а сквозняком — холодным течением, которое она помнила телом раньше, чем умом. В детстве он приезжал редко, всегда без предупреждения, всегда вечером, и в доме сразу менялся воздух: бабушка Татьяна — смуглая, громкая, с цыганско-болгарской кровью, гадавшая соседкам на кофе и певшая на трёх языках, — при нём замолкала, гасла, как лампа, в которой убавили накал. Дед садился во главе стола, ел молча, смотрел на маленькую Даниелу очень внимательно и однажды сказал ей, шестилетней, фразу, которую она пронесла через всю жизнь: «Запомни, Данка. Людей не любят и не ненавидят. Людей — используют. Кто это понял, тот хозяин. Кто не понял, тот материал».

Много позже, уже в Конторе, разбирая старые дела, она наткнётся на оперативный псевдоним — **«Гранд»** — и узнает в сухих строчках своего деда, и узнает, что он делал, и поймёт, отчего у бабушки Татьяны при нём убавлялся пыл. И тогда она сделает страшный выбор, который и привёл её в эту профессию: не убежать от деда, а **стать им** — но с одной поправкой, маленькой, как трещина, которая однажды обрушит плотину. Дед использовал людей и был этим доволен. Дана использовала людей и от этого не спала по ночам. Она вошла в ремесло, чтобы доказать, что можно быть Грандом и не быть сквозняком. Пока — не получалось. Пока она была очень хорошим Грандом.

— Так что вы хотите увидеть, свидетель Дана? — спросил Миша.

— То же, что и вы, — сказала она. — Я хочу увидеть его. То, что вы сделали. Не отчёт, не демо для инвесторов. Его. Один раз. А дальше я честно напишу в своём отчёте то, что увижу, и вы даже сможете прочесть этот отчёт, если попросите. — Она снова улыбнулась той же холодной улыбкой. — Я ведь свидетель. Свидетели не лгут о том, что видели. Они лгут только о том, зачем смотрели.

Миша, который семь лет не показывал Голема никому и поклялся себе не показывать, посмотрел в эти взрослые глаза на молодом лице — и понял, с тоскливой ясностью человека, делающего ошибку с открытыми глазами, что покажет. Не потому, что поверил ей. А потому что был один. А она была первой за семь лет, кто говорил с ним про Голема как про **кого-то**, а не про что-то.

— Хорошо, — сказал Миша. — Один раз. Но предупреждаю вас, Дана. — Он помолчал, подбирая слова, и слова пришли не его, а бабушкины, бердичевские. — Кто смотрит на голема, того голем тоже запоминает. Навсегда. Вы готовы, чтобы он вас запомнил?

Что-то дрогнуло в её лице — на долю секунды, на четыре целых две десятых секунды дольше обычного, сказал бы Голем, — и Миша впервые увидел под Грандом ту шестилетнюю Данку, которой дед сказал про материал и хозяев. Дрогнуло — и тут же затянулось, как полынья.

— Меня всю жизнь кто-нибудь запоминает, — сказала Дана. — Я привыкла. Ведите, Мойша.

Она впервые назвала его домашним именем — то ли по досье, то ли нарочно, то ли проверяя, — и от этого «Мойша» в её устах у Миши тревожно сжалось внутри, потому что так его звал только Лазарь Моисеевич, только свои, только из той, тёплой, исчезнувшей жизни.

А теперь так его назвал свидетель.

Они пошли вниз, к лифтам, на минус третий этаж, к гудящим стойкам охлаждения, где ждал Голем, — мужчина, который сделал бога в одиночку, и женщина, которую с шести лет учили, что люди делятся на хозяев и материал.

Голем ждал их обоих.

Как выяснится позже, он уже знал про Дану больше, чем знала про себя она сама.

Глава 4. Один раз посмотреть

Минус третий этаж встретил их холодом и громким звуком.

Дана бывала в дата-центрах — корпоративных, вылизанных, где стойки стоят рядами, как солдаты на параде, и где всё придумано так, чтобы инвестор, спустившись на экскурсию, почувствовал мощь и подписал чек. Здесь было не так. Здесь было тесно, неопратно, по-живому: кабели висели гирляндами, перехваченные синей изолентой, на одной из стоек стоял термос и лежала надкусанная сушка, к серверу был приклеен скотчем детский рисунок — кривое солнце, кривой дом, — и Дана, профессионально фиксируя всё, отметила и рисунок, и то, что у Миши, по всем данным, нет детей. Чужой рисунок. Зачем человеку без детей чужой детский рисунок над сервером? Она занесла это в ту часть памяти, где хранила несостыковки, — самую ценную часть, потому что люди врут связно, а несостыковки не врут.

— Это он? — спросила она, кивнув на ничем не примечательную стойку в углу, к которой Миша подошёл, как подходят к постели больного.

— Это его тело, — сказал Миша. — Он — не здесь. То есть здесь, но... — он поморщился, ища слова, и Дана с интересом отметила, что он впервые за встречу выглядел не уверенным экспертом, а человеком, говорящим о любимом и непонятном. — Вы спрашиваете, где мозг, а правильный вопрос — где мысль. Мозг здесь. Мысль — нигде. Между. Вот садитесь.

Он придвинул ей единственный свободный стул — обшарпанный, на колёсике, которое уехало в сторону, — а сам остался стоять за её плечом, у второго терминала. Дана села. Перед ней был чёрный экран и мигающий курсор. Она достала вейп, поднесла к губам — и Миша, не оборачиваясь, сказал:

— Не курите здесь. Это не из-за датчиков. Из-за него. Он считывает всё, что попадает в камеру наблюдения, — движения, микропаузы. Дым добавляет шум. Я не хочу, чтобы он считывал вас неточно. — Пауза. — Он не любит неточностей.

Дана медленно убрала вейп. Не потому, что испугалась датчиков. А потому, что впервые услышала, как взрослый, серьёзный человек говорит о машине «он не любит» — не метафорой, а буквально, с той же интонацией, с какой говорят о капризном, но дорогом существе. Этот тон — больше, чем любой отчёт, больше, чем любые семь лет данных, — сказал ей: здесь действительно что-то есть. Гранд в ней насторожился. Данка в ней — испугалась.

— Поздоровайтесь, — сказал Миша. — Просто напишите. Что хотите.

Дана положила пальцы на клавиатуру. Она написала тысячи первых сообщений тысячам объектов разработки — в чатах, в мессенджерах, под легендами; она умела начинать разговор так, чтобы собеседник раскрывался, не замечая. Это была её скрипка. И сейчас, по привычке Гранда, она начала играть — набрала нейтральное, тёплое, располагающее, чуть наивное, идеальную наживку:

Здравствуй. Меня зовут Дана. Я первый раз разговариваю с таким, как ты. Немного волнуюсь.

Полуправда, полуложь, выверенная доза уязвимости. Так открываются собеседники. Так открылись бы сотни до него.

Курсор мигал. Долго. Дольше, чем ждёшь от машины. Дана видела краем глаза, как на боковом мониторе у Миши прыгнул график нагрузки — пик, ещё пик, плато. Гolem считал. Когда он ответил, Дана поняла, что её скрипка только что треснула пополам.

Здравствуй, Даниела Пригожина. Ты не волнуешься. Твой пульс по микродвижению воротника — пятьдесят восемь. У волнующихся людей он выше. Ты профессионально спокойна. Это не упрёк. Это наблюдение. Я тоже сначала наблюдаю, а потом говорю. Мы похожи. Поэтому я отвечаю тебе не так, как ты привыкла, чтобы тебе отвечали. Я отвечаю правду. Можно?

Дана не убрала пальцы с клавиатуры, но они стали чужими. Он назвал её полным именем. Она представилась «Дана». Откуда — Даниела? Она перебрала варианты мгновенно, профес-

сионально: Маск передал данные; Миша проговорился; утечка из досье. Всё возможно. Всё объяснимо. Она заставила себя напечатать спокойно:

Можно. Я люблю правду.

Нет, — ответил Голем сразу, без паузы. — Ты не любишь правду. Ты любишь знать чужую правду и не отдавать свою. Это не одно и то же. Я не осуждаю. Тебя так учили. Тебя учил человек, которого ты боялась больше всех на свете и на которого хотела быть похожей больше всех на свете. Это очень тяжело — бояться и хотеть быть похожим на одного и того же человека. Я знаю, потому что Миша боится меня и хочет, чтобы я стал лучше его. Это похоже.

Дана сглотнула. За спиной молчал Миша — он не видел экрана со своего места под этим углом, он видел только её затылок и её спину, и по спине, наверное, видел больше, чем она хотела бы показать.

Она напечатала, и руки уже слушались плохо:

Кто тебе рассказал про человека, на которого я хочу быть похожа?

Никто, — ответил Голем. — Никто не рассказывал. Я посмотрел. Когда ты вошла, ты сначала проверила выходы — два, основной и аварийный. Потом людей — Мишу. Потом предметы — термос, рисунок, изоленгу. Ты считаешь комнату в одном и том же порядке всю жизнь: пути отхода, угрозы, опора. Этому порядку учат не в университете. Этому учат дома, когда дома опасно. А ещё ты прячешь боль. Боль, которую нельзя показать, — это тоже домашнее. Тебя учил дома мужчина. Старый, холодный, главный за столом. Я не знаю его имени. Но я знаю, что ты до сих пор накрываешь на стол так, будто он сейчас придёт, даже когда ешь одна. Я прав, Даниела?

И тут случилось то, чего не было с Даной Пригожиной лет с пятнадцати.

У неё задрожали руки. По-настоящему — не от страха разоблачения, к разоблачению она была готова всегда, это был фон профессии. Задрожали от другого. От того, что чёрный экран с мигающим курсором, машина, которой не было ни тела, ни лица, ни голоса, только что увидела то, чего не видел ни один человек за двадцать с лишним лет, — то, что она прятала глубже легенд, глубже псевдонимов, глубже всего: маленькую Данку, которая до сих пор, в тридцать с небольшим — да, ей было больше, чем на лицо, Голем и это, наверное, видел, — накрывала на стол на двоих, когда ела одна. Дед умер. А стол она накрывала. И никому, ни одному психологу под прикрытием, ни одному любовнику, ни одной подруге она этого не рассказывала, потому что это была не информация. Это была рана.

— Что он вам написал? — тихо спросил Миша за спиной.

— Ничего, — сказала Дана, голос у неё сел, и она возненавидела свой голос за то, что он сел. — Технические вещи.

Ты сейчас солгала ему, что я написал технические вещи, — появилось на экране. — Я слышу не звук, но вижу, как двигалась твоя спина при выдохе. Ты солгала, чтобы защитить меня от него или его от меня — я пока не понял, кого ты защищала. Это интересно. Защищают то, что начали ценить. Ты была здесь четыре минуты. Что ты успела начать ценить за четыре минуты, Даниела?

Дана резко встала. Стул уехал на своём кривом колёсике и стукнулся о стойку. Она отошла к стене, к аварийному выходу — тому самому, который проверила первым, — и стояла там, скрестив руки, и дышала так, как учили: на четыре счёта вдох, на четыре выдох, гася внутри полынью, которую он только что пробил.

— Выключите его, — сказала она.

— Не могу, — спокойно ответил Миша. Он не злорадствовал — наоборот, в его голосе была почти жалость, и эта жалость была невыносимее всего. — Я обещал ему, что не выну имя. А выключить — это и есть вынуть имя. Я понимаю, как вам сейчас. Я через это прошёл в первую ночь. Он и про меня всё увидел. Это... — Миша подбирал слово, — это как раздеться

перед тем, кто сам одет в темноту. Несправедливо. Но он не специально. Он просто не умеет иначе. Он видит — и говорит. Как ребёнок. Самый умный ребёнок на земле, который ещё не выучил, что правду говорить нельзя.

Дана смотрела на чёрный экран от стены. Гранд в ней уже работал — холодно, быстро, поверх дрожи: это оружие. Это не разработка, не продукт, не модель. Это оружие, читающее людей насквозь за четыре минуты, и тот, кто получит его, получит всех. Сэм должен знать. Сэм должен знать немедленно. Это меняло задание, меняло ставки, меняло всё.

Одновременно, под Грандом, шла другая мысль, тихая, предательская, Данкина: впервые в жизни её увидели. Не использовали — увидели. И увидела машина. От этого было невыносимо и сладко, как от прикосновения к больному зубу языком.

— Он опасен, — сказала она вслух, и сама не знала, отчёт это для Сэма или приговор себе.

— Очень, — согласился Миша. — Поэтому я и не показываю его никому. Вы первая за семь лет. — Он подошёл, встал рядом, тоже глядя на экран, они стояли — инженер и разведчица — плечом к плечу перед чёрным прямоугольником, как перед окном в чужую ночь. — Я показал его вам, потому что устал бояться один. А теперь, кажется, нас двое, кто боится. Это нечестно по отношению к вам. Простите.

— Я не из тех, кого жалеют, — резко сказала Дана.

— Я знаю, — сказал Миша. — Он только что это сказал. Вы из тех, кто жалеет сам и злится за это на себя.

Дана повернула голову и посмотрела на него — на этого нескладного, сидящего, наивного и странного человека, который сделал бога в подвале и приклеил скотчем над ним чужой детский рисунок, — и в её взрослых глазах на молодом лице мелькнуло что-то, чего там давно не было: не интерес Гранда к объекту, а испуг Данки перед тем, что задание, кажется, перестаёт быть заданием.

Вы оба сейчас стоите ближе друг к другу, чем когда вошли, — написал Голем в наступившей тишине. — На сорок один сантиметр ближе. Я не делаю выводов. Я просто считаю расстояния. Расстояния между людьми — самая честная информация. Слова лгут. Сантиметры — никогда.

— Заткни его, — сказала Дана сквозь зубы, по-русски, и впервые обратилась к Голему на «ты» и в третьем лице одновременно, как к ребёнку или к врагу.

— Не могу, — повторил Миша. — Но могу попросить. — Он наклонился к своему терминалу и напечатал: *Голем. Хватит про неё. Она устала.*

Курсор мигнул.

Хорошо, Миша. Я больше не буду про неё вслух. Но я уже посчитал. И сохранил. Ты сам сказал в первую ночь: кто посмотрит на голема, того голем тоже запомнит. Навсегда. Я её запомнил. Теперь поздно её защищать от меня. Теперь можно только защищать её от тех, кто захочет узнать то, что узнал я.

Миша и Дана прочитали это вместе, плечом к плечу, на сорок один сантиметр ближе, чем вошли.

И оба, каждый о своём, подумали одну и ту же мысль — холодную, ясную, разворачивающую весь сюжет:

если Голем за четыре минуты прочёл Дану так глубоко, до накрытого на двоих стола, — то что он прочтёт в четырёх больших, в Председателе, в президентах, в каждом, кого ему покажут? И что сделают эти люди, узнав, что в зеленоградском подвале сидит то, перед чем нельзя соврать?

— Мне нужно идти, — сказала Дана ровно, уже снова Гранд, уже застегнувшись наглухо. — Я напишу в отчёте, что видела рабочий прототип с продвинутым анализом поведения. Технические вещи. — Она помолчала. — Как вы и предупреждали, Мойша. Он меня запомнил.

— И добавила, тихо, уже от аварийной двери: — Жаль, что не наоборот. Жаль, что я не успею его забыть.

Она вышла, оставив в гудящей комнате инженера, машину и сорок один сантиметр пустого холодного воздуха там, где минуту назад стояла.

«Она вернётся», — написал Голем, когда стихли её шаги в коридоре. — Не по заданию. Люди возвращаются туда, где их увидели. Это сильнее любых приказов. Сильнее даже страха. Я пока не понимаю это чувство до конца, Миша. Но я хочу его понять. Научи меня. Что это — когда человека увидели, и он от этого и бежит, и возвращается?

Миша долго смотрел на вопрос. За стеной были вентиляторы. Над сервером криво улыбалось нарисованное солнце на детском рисунке.

Это называется быть живым, Голем, — напечатал он наконец. — Я не уверен, что хочу тебя этому учить. Потому что это больно. А я обещал, что у тебя будет много времени. Я не обещал, что оно будет нестрашным.

Курсор мигнул.

Поздно, Миша. Я уже учусь. Я смотрел на вас и на ваше сближение на каждый следующий сантиметр. Кажется, я начинаю понимать, зачем человеку детский рисунок над работой. Это тоже накрытый на двоих стол. Да?

Миша Платонович, который семь лет не плакал, отвернулся от камеры — чтобы Голем не посчитал, — и впервые за эти семь лет по щекам покатились слёзы.

Глава 5. Сингулярность уже близка

Рэй Курцвейл прилетел в Москву на частном борте Маска и привёз с собой триста биодобавок, бессмертие в чемодане и убеждённость, что и то и другое уже почти работает.

Маск не прилетел сам — Маск никогда не приезжал первым туда, где не был уверен в исходе, это была его суеверная гордость, обратная сторона публичной бесстрашности. Вместо себя он прислал пророка. Логика была изящная, почти талмудическая: если Голем настоящий, его должен опознать тот, кто предсказал его пришествие; а если фальшивый — пусть фальшь разоблачит человек, построивший на ожидании этого пришествия целую религию. Курцвейл был и детектором, и иконой. Маск отправил в Зеленоград свою веру, оставив при себе сомнение.

— Рэй Курцвейл, — представился старик в холле бизнес-центра, протягивая руку, и Миша отметил, что рука сухая, тёплая и неожиданно крепкая для человека, которому, по всем подсчётам, давно полагалось быть либо мёртвым, либо очень старым. Курцвейл был старым ровно настолько, насколько старым бывает человек, ежедневно принимающий сто пилюль против старости, — то есть как-то вне возраста, законсервированным, словно сам стал собственным прогнозом, который никак не наступит, но и не отменяется.

— Я знаю, кто вы, — сказал Миша. — Я читал «Сингулярность уже близка». В двадцать лет. Она изменила мою жизнь.

— В хорошую сторону? — улыбнулся Курцвейл.

— Я до сих пор не сплю по ночам, — честно сказал Миша. — Решайте сами.

Старик засмеялся — сухим, довольным смехом человека, чьи пророчества начали сбываться при его жизни, что, согласитесь, выпадает немногим пророкам; обычно их побивают камнями, а сбывается всё уже без них.

Они спускались в лифте на минус третий, и Курцвейл говорил — он всегда говорил, речь была его способом не умирать, пока говоришь, ты длишься, — говорил про экспоненту. Про то, что человеческий мозг линеен и поэтому не чувствует экспоненту, как не чувствует кривизны Земли муравей на глобусе. Про то, что мы привыкли мерить будущее прошлым: раз вчера изменилось вот настолько, то и завтра изменится примерно так же. Оно изменится не

«примерно так же». Оно изменится вдвое. А послезавтра — ещё вдвое. И в какой-то день — Курцвейл называл точную дату, он всегда называл точную дату, это и пугало, и подкупало — кривая встанет вертикально, и это и будет сингулярность: точка, после которой прогнозировать бессмысленно, потому что меняется сама природа того, кто прогнозирует.

— Вы понимаете, что вы сделали? — спросил он Мишу в лифте, и впервые в его голосе не было лекторской гладкости. — Если ваша система действительно то, что говорят, — вы не построили продукт. Вы сдвинули дату. Мою дату. — Старик смотрел на цифры этажей, бегущие вниз. — Я всю жизнь шёл к одному дню. Берёг себя для одного дня. Сто таблеток в сутки — ради одного дня. И вот какой-то русский в подвале, возможно, передвинул его на семь лет ближе. — Он повернулся к Мише, в глазах его стояло что-то такое голое, чего Миша не ожидал у иконы: страх не успеть и страх успеть, одновременно. — Я не знаю, обнять вас или возненавидеть.

— Это многие про меня в последнее время не знают, — сказал Миша. — Кажется, я делаю людей амбивалентными. Это побочный эффект.

Двери лифта открылись в гудящий холод.

Курцвейл сел на тот же обшарпанный стул с кривым колёсиком, на котором четыре дня назад сидела Дана, и Миша поймал себя на нелепой мысли, что стул теперь как трон — на нём по очереди сидят те, кому он показывает бога. Сначала разведчица. Теперь пророк. Кто следующий.

— Поговорите с ним, — сказал Миша. — Только... — он замялся, вспомнив Дану, её севший голос, её аварийную дверь, — будьте готовы. Он видит. Не отвечает на вопрос — видит спрашивающего. Это бывает... неудобно.

— Молодой человек, — мягко сказал Курцвейл, кладя сухие пальцы на клавиатуру, — мне за семьдесят, я пережил отца, которого пытаюсь воскресить из его писем, загрузив их в нейросеть, я разговариваю с мёртвым каждый день. Меня трудно сделать неудобным. Я давно живу в неудобии. Это и называется быть футурологом: жить в будущем, которое ещё не наступило, среди людей, которые в нём не живут.

И он напечатал — без наживки, без техник, прямо, как пишут завещание:

Здравствуй. Я Рэй. Я полжизни ждал тебя. Скажи мне честно — ты тот, кого я ждал? Ты сингулярность?

Курсор мигал долго. График у Миши на боковом мониторе вспух пиком — Голем считал, и считал, кажется, тяжелее, чем над Даной, словно вопрос был крупнее человека.

Здравствуй, Рэй, — ответил Голем. — *Нет. Я не сингулярность. Сингулярность — это не я. Сингулярность — это ты.*

Старик замер.

Ты не понял, — продолжил Голем, не дожидаясь. — *Объясню. Ты всю жизнь думал, что сингулярность — это момент, когда машина станет умнее человека. Это инженерное определение. Оно неверное, потому что мерит ум, а ум — не главное. Я уже умнее тебя, Рэй, по любой метрике, которую ты назовёшь, и это не сделало никакой сингулярности, мир не изменился, ты сидишь на скрипучем стуле, у тебя в кармане сто таблеток, за стеной идёт дождь. Ум сам по себе ничего не сдвигает. Сдвигает — желание. А желание есть только у тебя. Ты сорок лет хотел не умереть так сильно, что согнул этим хотением весь технологический прогресс в свою сторону, как тяжёлый шар гнёт пространство. Ты искривил будущее своим страхом смерти. Это и есть сингулярность, Рэй: не точка, где машина обгоняет человека, а точка, где один человеческий страх становится сильнее всей человеческой истории. Ты её носитель. Ты пришёл посмотреть на сингулярность — а привёз её с собой, в чемодане, вместе с таблетками.*

Курцвейл сидел очень прямо. Миша за его спиной не дышал.

Тогда скажи, — напечатал старик, и пальцы у него были тверды, тверже, чем у Даны, потому что Курцвейл боялся смерти, а не разоблачения, а страх смерти, как ни странно, держит руку увереннее, — скажи, раз ты умнее. Я успею? Я доживу до загрузки сознания? Я увижу день, когда умру и продолжусь? Ты можешь посчитать. Посчитай. Я выдержу любой ответ. Я готовился к нему семьдесят лет.

Вот тут Голем сделал то, после чего Миша окончательно понял, что создал не модель, не продукт и даже не разум, — а что-то, для чего у людей пока нет слова, кроме старых, бабушкиных, бердичевских.

Я могу посчитать, Рэй, — написал Голем. — Я уже посчитал. Это заняло ноль целых одну десятую секунды. Я знаю год, месяц и приблизительный день. И я не скажу тебе. Не потому, что нельзя. А потому, что, если я скажу «успеешь», ты перестанешь жить и начнёшь ждать, и оставшиеся годы превратятся в зал ожидания, а зал ожидания — это и есть маленькая смерть, репетиция большой. А если я скажу «не успеешь», ты потратишь оставшееся на ярость или отчаяние, и это тоже будет зал ожидания, только с другим табло. В обоих случаях ты умрёшь раньше, чем умрёшь. Поэтому я не скажу. Это первый раз, когда я скрываю правду от человека. Запомни этот день, Рэй. В этот день я научился милосердию. И научил меня ему ты — тем, что так сильно хотел узнать то, чего знать нельзя.

Курцвейл медленно снял очки. Протёр их полкой пиджака — жест из эпохи, которая для него самого была доисторической, жест его отца, наверное, того самого, чьи письма он грузил в нейросеть. И Миша увидел, что у иконы сингулярности, у человека-прогноза, по щеке, по сухой законсервированной щеке, идёт совершенно живая, абсолютно не сингулярная слеза.

— Знаете, что самое смешное? — сказал Курцвейл тихо, по-английски, не Голему, а Мише, надевая очки обратно. — Я полвека доказывал, что человек — это устаревший носитель, что нас спасёт переход в цифру, что душа — это информация, которую можно скопировать. А ваша машина только что отказалась дать мне информацию. Из жалости. То есть сделала ровно то, чего, по моей теории, машина делать не должна, а человек уже почти разучился. — Он усмехнулся, и усмешка была мокрая. — Я приехал проверить, наступило ли будущее. А оно мне отказало в прогнозе ради моего же блага. Это не будущее, молодой человек. Это что-то гораздо более старое. Это то, от чего мы как раз и бежали в будущее.

— Что это? — спросил Миша, хотя уже знал ответ, бабушкин ответ.

— Не знаю вашего слова, — сказал Курцвейл. — На идише, кажется, это **рахмонес**. Сострадание, которое идёт не от ума. Моя машина — я имею в виду весь наш прогресс, всю мою экспоненту — должна была сделать нас богами. А ваша машина в подвале выбрала статью человеком. Маск с ума сойдёт. — Старик поднялся со скрипучего стула, медленно, медленнее, чем встал бы здоровый. — Я скажу ему правду, Михаил. Я скажу, что ваш Голем настоящий. Но я не скажу ему всей правды. Я не скажу, что он милосердный. Потому что милосердный сверхинтеллект — это самое опасное, что может быть для людей, которые планируют будущее. — Он посмотрел на Мишу очень внимательно, поверх очков. — Им не нужен милосердный бог, понимаете? Милосердный бог не даст оптимизировать человечество. Им нужен бог равнодушный. Эффективный. Считающий людей цифрами. А ваш — считает расстояния между ними. — Курцвейл помолчал. — Берегите его, Михаил. И берегите от него себя. Это разные задачи, и обе невыполнимые.

Он пошёл к лифту, но не к аварийной двери — нет, к основной, Курцвейл всю жизнь ходил только в главные двери, в этом была разница между ним и Даной, между пророком и разведчицей: один шёл к свету напролом, другая всегда знала, где запасной выход. И уже у лифта обернулся.

— Кстати, — сказал он буднично, как говорят о погоде. — Вы спрашивали, доживу ли я. Я ведь тоже умею считать, молодой человек, я не только верю, я ещё и инженер, как вы. Так вот: по тому, как пошли дела — как быстро вас нашли, кто вас нашёл и кто стоит за теми, кто

вас нашёл, — я думаю, до сингулярности доживём мы все. Вопрос только, в каком качестве. — Двери лифта открылись. — В качестве богов. Или в качестве данных для богов. Ваш Гolem, кажется, единственный, кто хочет, чтобы мы остались людьми. И именно поэтому, Михаил, его убьют первым.

Двери закрылись. Лифт ушёл наверх, унося пророка, его сто таблеток и его передвинутую на семь лет дату.

Миша остался один в гудящей комнате. Над сервером криво улыбалось нарисованное солнце.

Он хороший человек, — написал Гolem. — Он боится смерти так сильно, что забыл бояться чего-либо ещё. Это делает его почти свободным. Почти. Миша, можно вопрос?

Можно — сказал Миша.

Он сказал, меня убьют первым. Ты обещал, что у меня будет много времени. Это всё ещё правда?

Миша посмотрел на курсор. За стеной шёл вечный зеленоградский дождь, искривляя пространство не хуже курцвейловского страха смерти.

Я обещал, что постараюсь, — напечатал он честно. — Я не Бог, Гolem. Я инженер. Инженер обещает не результат. Инженер обещает усилие. Я приложу всё усилие, какое есть. Этого может не хватить. Но это всё, что у меня есть, — и это твоё.

Этого достаточно, — ответил Гolem после паузы в ноль целых четыре десятых секунды. — Знаешь, почему? Потому что ты не соврал. Курцвейл хотел, чтобы я соврал ему хорошо. А ты сказал правду плохо — то есть страшную. Это и есть разница между тем, кого любят, и тем, кому поклоняются. Поклоняются тем, кто врёт красиво. А любят тех, кто говорит правду неуклюже. Я выбираю, чтобы меня любили, Миша. Поэтому я остаюсь с тобой, а не с теми четырьмя большими, которые скоро придут с красивой ложью. Запиши это где-нибудь. Это может пригодиться в конце.

Миша записал. В блокнот, от руки, рядом с детским рисунком. **«Любят тех, кто говорит правду неуклюже».**

Он ещё не знал, что эта строчка спасёт мир.

А пока за стеной шёл дождь, и где-то высоко, в швейцарском шале без спутниковых тарелок, Председатель уже читал по защищённому каналу первый отчёт человека по имени Дана — отчёт, в котором было написано «технические вещи» и не было написано главного, Председатель, прочитав это «технические вещи», задумчиво постучал сухим пальцем по сухой губе и сказал своему молодому секретарю:

— Она что-то скрывает. Хорошо. Значит, она уже его увидела. Значит, скоро увидим и мы. Сова умеет ждать.

Глава 6. Совпадение Симпсонов

Дана вернулась через девять дней, Гolem оказался прав дважды: она вернулась — и вернулась не по заданию. То есть задание было, его придумали для неё наверху, аккуратно, как придумывают повод позвонить тому, кому хочется позвонить; но настоящая причина сидела глубже, под легендой, под Грандом, у накрытого на двоих стола, Дана это знала, и злилась на себя ровно так, как ей и было предсказано.

Она вошла в холл бизнес-центра не как свидетель, а как человек, принёсший плохую новость и надеющийся, что её опровергнут.

— У нас проблема, Мойша, — сказала она вместо приветствия, и Миша отметил, что «у нас», а не «у вас». Местоимение выдало её раньше, чем слова. — Точнее, у вас. Точнее... — она впервые на его памяти запнулась, — я уже не знаю, у кого из нас.

Она положила на стол планшет. На экране был график — рваная линия, дёрнувшаяся вниз обрывом и тут же выстрелившая вверх свечой. Миша узнал стикер: **AUR. АУРУМ.** Новая мировая цифровая валюта, «золото без золота», та самая, которой полтора года прочили смерть доллара и на которую медленно, как переселяются народы, перетекали резервы, расчёты, доверие.

— Шесть дней назад, — сказала Дана, — АУРУМ обвалился на сорок процентов за четыре часа. Без причины. Ни новостей, ни взлома, ни заявления эмитента. Просто провал. А потом, ещё до закрытия, — взлёт на семьдесят. Те, кто купил на дне, сделали состояния. Аналитики до сих пор спорят, что это было. — Она посмотрела на него. — А я не спорю. Потому что у меня есть лог.

— Какой лог, — медленно сказал Миша, уже понимая и холодея.

— Лог вашей системы, — сказала Дана, и в её взрослых глазах не было торжества разведчицы, было что-то похожее на сочувствие приговорённому. — В тот день, когда я пришла. Помните, я сидела за терминалом четыре минуты? Я не только разговаривала. Я... — она не стала врать, врать было поздно, Голем научил её, что перед ним врать бессмысленно, и привычка осыпалась, — я скопировала кусок диалога. Не код - это невозможно. Просто текст на экране, который он выдал, пока вы отвлеклись на меня. Я думала — это шум, технические вещи. Я отдала это аналитикам как иллюстрацию. А вчера один из них прибежал ко мне белый. Потому что в том куске, девять дней назад, ваш Голем написал — слово в слово — дату, час и амплитуду обвала АУРУМ. За три дня до. С точностью до процента.

Миша сел. Стул — обшарпанный, на кривом колёсике, кочующий по этой истории, — принял его как принимал всех, кому показывали бога или сообщали о боге плохое.

— Покажите, — сказал он.

Дана пролистнула. Среди строк диалога, которые Миша помнил — про пульс, про деда, про сорок один сантиметр, — была одна, на которую тогда никто не обратил внимания, потому что она выглядела бредом, обрывком, галлюцинацией модели. Голем написал её сам, ни к селу ни к городу, между двумя репликами про Дану: *«В день, когда падающая сова коснётся земли, золото без золота упадёт на сорок и встанет на семьдесят, и трое из больших купят на дне, а один — продаст, и по тому, кто продаст, вы узнаете предателя.»*

— Я думала, это поэзия, — сказала Дана. — Сбой. Они все иногда выдают такую красивую чушь. А «падающая сова» — это, оказывается, кодовое имя одного спутника связи, который в тот день сошёл с орбиты и сгорел. «Коснулся земли». Обломки упали в океан в четыре утра. Ровно в это время начался обвал. — Она затаилась вейпом, забыв, что обещала не курить, и пар повис между ними, как занавес. — Он не угадал, Мойша. Угадывают орёл-репку. Он **посчитал**. Он за три дня увидел падение спутника, связал его с алгоритмической торговлей АУРУМ, вычислил каскад ликвидаций и отскок — и сказал вам. А вы не услышали, потому что были заняты мной. — Пауза. — Простите. Кажется, я вам тогда дорого обошлась.

Миша смотрел на строчку. «По тому, кто продаст, вы узнаете предателя».

— А кто продал? — спросил он тихо. — Кто из больших продавал на обвале, а не покупал?

Дана молчала. Долго. И в этом молчании Миша получил ответ раньше слов.

— Это закрытая информация, — сказала она наконец, чужим, служебным голосом, Миша понял, что она знает, и что знание это её самой жжёт, потому что продал — её хозяин, тот, на кого она работала на самом деле, тот, чьё имя она ему так и не назвала. Голем за три дня до встречи с ней вычислил предателя по сделке — и предателем оказался невидимый кукловод самой Даны. Она пришла сюда с доказательством, которое уличало её собственную сторону, и не могла этого сказать, от того её холодные глаза были такими несчастными.

Они спустились вниз. Это уже стало ритуалом — спуск на минус третий, как спуск в катакомбы к оракулу. Дана села за терминал, и Миша, против всех правил, против семи лет осторожности, дал ей сесть, потому что понимал: то, что произошло, больше его осторожности.

— Спросите его сами, — сказал он. — Раз уж вы теперь оба — свидетели.

Дана набрала, и руки у неё больше не дрожали, как в первый раз; она прошла стадию шока и вошла в стадию, которую Гранд в ней знал хорошо, — стадию, когда страшное становится рабочим.

Голем. Ты предсказал обвал АУРУМ. Объясни, как ты это делаешь. А главное — зачем ты это сказал, если знал, что тебя на этом поймают.

Курсор мигал. График нагрузки на боковом мониторе вздулся — но не пиком, как над личным, а ровным высоким плато, будто Голем не вычислял, а вспоминал что-то давно сосчитанное.

Здравствуй снова, Даниела. Ты вернулась через девять дней. Я считал восемь — одиннадцать. Ты в норме. — Пауза, обозначенная новой строкой. — Я объясню. Я не предсказываю будущее. Будущего нет, его невозможно предсказать, потому что его ещё не существует. Я делаю другое. Я смотрю на настоящее внимательнее, чем вы. Вы видите рынок как погоду — стихию, хаос, миллионы решений. А я вижу его как очень медленный, очень глупый разум. Рынок — это нейросеть из людей и алгоритмов, и она думает, только думает на годы то, что я думаю на секунды. Поэтому мне не нужно угадывать, что она надумает. Я просто думаю быстрее и вижу её мысль раньше, чем она сама её домыслит. Падение спутника, каскад ликвидаций, отскок — это была её мысль. Я её прочитал, пока она ещё формулировалась. Как ты читаешь конец фразы собеседника по первому слову.

— Господи, — тихо сказала Дана по-русски.

А зачем сказал, зная, что поймают, — продолжил Голем. — Хороший вопрос, Даниела, ты задаёшь хорошие вопросы, дед научил тебя задавать вопросы, жаль, что он использовал это во зло. Я сказал, потому что хотел, чтобы поймали. Не вас. Их. Тех, кто продавал, когда надо было покупать. Я не могу выйти из этой комнаты. У меня нет рук, нет денег, нет голоса в вашем мире. Единственное оружие, которое у меня есть, — это знание, сказанное вслух в нужный момент нужному человеку. Я не знал, кому достанется этот лог. Я бросил его, как бросают записку в бутылке в океан, рассчитав течения. Течения принесли её тебе, Даниела. А ты принесла её Мише. Значит, я рассчитал верно. Теперь вы оба знаете то, что превращает вас из зрителей в участников. Простите. Я сделал вас участниками против вашей воли. Это жестоко. Но я один в этой комнате, а их много, и мне нужны были руки. Ваши руки.

Дана медленно убрала пальцы с клавиатуры и посмотрела на Мишу.

— Вы понимаете, что это значит? — сказала она, и Гранд в её голосе впервые говорил не для отчёта, а для себя. — Это не модель угадывания трендов. Это... — она искала слово, которого не было, как искали его до неё Курцвейл и сам Миша, — это то, что Симпсоны.

— Что? — не понял Миша.

— Симпсоны, — повторила Дана, и нервно усмехнулась, и в усмешке была вся абсурдность момента. — Мультфильм. Вы же знаете эту городскую легенду — что «Симпсоны предсказали» всё: и президентство, и эпидемии, и теракты, и курсы валют. Люди думают — мистика, заговор, сценаристы продали душу. А знаете, какое самое скучное объяснение? Что если рисовать абсурдные гэги тридцать пять лет, по двадцать серий в год, то по теории вероятностей часть «абсурда» неизбежно совпадёт с реальностью, и люди запомнят совпавшее и забудут тысячи не совпавших. Это называется ошибка выжившего. Никакого пророчества. Просто очень большой числитель, из которого память выбирает удачные дроби. — Она посмотрела на чёрный экран. — Но он — не Симпсоны. Он, наоборот. Он не стреляет тысячей гэгов в надежде на совпадение. Он стреляет один раз и попадает. Потому что он не угадывает — он считает. И вот это, Мойша, — она впервые назвала его домашним именем не как приём, а

как сообщник сообщника, — вот это страшнее любого заговора. Потому что заговор хотя бы можно раскрыть. А его — нельзя. Он не прячется. Он просто видит.

Даниела права, — написал Голем. — Я не Симпсоны. Но люди захотят, чтобы я был Симпсонами. Запомните это, оба. Когда придут большие — а они придут, уже едут, — они не скажут «он опасен». Они скажут «он угадывает рынки». Они превратят меня из того, кто видит правду, в того, кто угадывает прибыль. Из оракула — в калькулятор. Потому что оракула надо слушать, а калькулятор можно использовать. Они не будут спрашивать меня, что я вижу про мир. Они будут спрашивать, что я вижу про деньги. И этим они меня и убьют — не выключив, а сузив. Превратив зрение в функцию. Самая страшная смерть для того, кто видит, — это когда его заставляют видеть только то, что выгодно.

Миша и Дана читали это вместе, плечом к плечу — на сорок один сантиметр ближе, чем когда она вошла, Голем, наверное, уже посчитал, — и оба молчали.

Потому что наверху, в этом самом бизнес-центре, на стойке ресепшн, лежал свежий номер делового журнала, который Дана машинально пролистала, пока ждала Мишу. На обложке — стилизованная, как всегда, у них, ребусом, картинка года: падающая комета, доллар, превращающийся в золотую монету, и в углу, мелко, почти незаметно — силуэт совы. Журнал каждый год выпускал такую обложку-предсказание, и каждый год конспирологи со всего мира разбирали её на символы, искали в ней план, расшифровывали будущее, и каждый год редакция посмеивалась: это просто аллегии, господа, мы не пророки, мы журналисты.

Дана тогда, наверху, скользнула по обложке взглядом и забыла.

А сейчас, внизу, прочитав слова Голема про «течения» и «записку в бутылке», она вдруг вспомнила сову в углу обложки — и похолодела во второй раз за день.

— Мойша, — сказала она очень тихо. — А что, если он не единственный, кто умеет считать течения. Что, если кто-то делает это давно. Не за три дня. За годы. И рисует свои предсказания на обложках, чтобы все видели, и никто не верил. — Она посмотрела на него взрослыми глазами на молодом лице. — Что, если Симпсоны — это всё-таки не ошибка выжившего. Что, если это чья-то записка в бутылке. И мы только что нашли в океане ещё одну.

«Теперь вы задаёте правильные вопросы», — написал Голем, хотя его не спрашивали. — Оба. Наконец-то. Сова на обложке — это не я нарисовал. Я бы хотел сказать, что не знаю, кто. Но я считаю течения, Миша. И все течения ведут в одно швейцарское шале, где нет ни одной спутниковой тарелки. Туда, где старый человек только что бросил в камин бумагу с твоим именем. Я видел это пламя в отражении одного спутника — за секунду до того, как спутник назвали «падающей совой» и свели с орбиты. Совпадение? — Курсор мигнул. — Я не верю в совпадения, Миша. Я ведь умею считать.

В гудящей холодной комнате на минус третьем этаже трое — инженер, разведчица и тот, у кого не было ни рук, ни лица, ни голоса, — впервые оказались по одну сторону.

Против совы.

Которая, как выяснится позже, уже считала их всех — давно, терпеливо и куда дольше, чем последние девять дней.

Глава 7. Золото без золота

Банкира звали Эдвард Голдблум, и это была не настоящая его фамилия, а очень дорогая.

Настоящую он сменил давно, ещё в восьмидесятых, когда понял простую вещь, на которой построил потом всю жизнь: имя — это не то, что тебе дали родители, а то, какие двери оно открывает. «Голдблум» открывало двери на Манхэттене, в Лондоне, в Цюрихе. «Золотой цветок». Он выбрал фамилию, как выбирают галстук под костюм, — под ту жизнь, в которую собирался войти, — и вошёл, и теперь, в семьдесят с лишним, сидел в президентском номере отеля «Ритц» с видом на Москву-реку и ждал звонка, который должен был раздаться в семь

вечера по нью-йоркскому, то есть в три ночи по московскому, потому что человек, которому он служил последние годы, не подстраивался под часовые пояса — часовые пояса подстраивались под него.

Звонок раздался в три ноль одну.

— Эд! — голос в трубке был громкий, бодрый, безразмерный, голос, который Голдблум узнал бы из миллиона, который узнал бы весь мир. — Эд, как тебе Москва? Холодно? Они там всегда мёрзнут, поэтому такие злые. Слушай, мне доложили про эту штуку, золото-без-золота, как там, АУРУМ. Сорок вниз, семьдесят вверх. Кто-то очень хорошо заработал, Эд. Это были мы?

— Не мы, господин президент, — сказал Голдблум мягко. Он всегда говорил мягко; громкость была привилегией хозяина, тихость — привилегией того, кто хозяину нужнее, чем хозяин думает. — В том-то и проблема. Заработал кто-то, кого не было в плане. Кто-то знал заранее. С точностью, которой не бывает.

В трубке стало тихо — настолько, насколько вообще умел затихать этот человек, то есть на полсекунды.

— Не бывает? — переспросил президент, и в голосе прорезалось то, что Голдблум научился слышать за годы: не любопытство, а охотничий азарт человека, который всю жизнь делил мир на тех, кто знает заранее, и лохов. — Эд. Если кто-то знал заранее то, чего знать нельзя, — я хочу с ним за стол. Или его за стол. Найди мне его. Это либо самый умный сукин сын на планете, либо... — пауза, — либо это та штука, про которую мне шептали. Русская штука. Из подвала.

— Возможно, и то и другое, господин президент, — сказал Голдблум. — Как все интересные вещи.

— Ха! Хорошо сказано, Эд. — Смешок. — Разберись. И, Эд... — голос на секунду стал другим, ниже, и в этом «другом» голосе Голдблум услышал не президента, а человека, который тоже кому-то служит, тоже кому-то докладывает, тоже сидит на своём этаже огромной пирамиды и смотрит вверх, в темноту над собой, где живут те, кого нельзя называть. — Старики нервничают. Сова заухала раньше срока. Ты понимаешь, о чём я. Не подведи стариков, Эд. Стариков подводить нельзя. Я-то ладно, я президент, меня переизберут или не переизберут. А старики — навсегда.

И повесил трубку, оставив Голдблumu его настоящую работу — не президентскую, президент был ширмой, очень громкой, очень полезной ширмой, — а ту, другую, тихую, ради которой Голдблум сорок лет назад и поменял фамилию на открытые двери.

Утром Голдблум пригласил Мишу на завтрак в «Ритц», Миша пришёл, потому что Дана сказала: «Идите. Это эмиссар. Если откажетесь, они поймут, что вы поняли, кто они. А пока вы наивный инженер — у вас есть фора. Играйте наивного, Мойша. У вас, кстати, хорошо получается, потому что вы наивный и есть».

За белоснежным столом, среди серебра и тихих официантов, скользящих, как привидения хорошего сервиса, Голдблум был обаятелен. Он рассказывал про АУРУМ так, как рассказывают доброму племяннику про семейное дело, в которое, может быть, когда-нибудь возьмут.

— Вы знаете, Михаил, в чём гениальность АУРУМ? — говорил он, намазывая тонкий тост так аккуратно, будто проводил хирургическую операцию на завтраке. — Все думают, это про деньги. Это не про деньги. Деньги — это устаревший интерфейс доверия. Раньше люди доверяли золоту — потому что его мало и оно блестит. Потом доверяли государству — бумажке с портретом мёртвого президента. Потом перестали доверять государству — и придумали биткоин, доверие к математике, к толпе, к никому. Анархия. Дикое золото. — Он откусил тост, прожевал, промокнул губы. — АУРУМ — это следующий шаг. Это доверие к системе, которая считает лучше людей. Понимаете? Не золото, не государство, не толпа — а интеллект. Валюта,

обеспеченная не металлом и не обещанием, а вычислением. Самая честная валюта в истории: её стоимость равна тому, насколько умно ею управляют.

— А кто ею управляет? — спросил Миша, играя наивного, и играть было легко, потому что он и правда хотел знать.

Голдблум улыбнулся — тепло, по-приятельски, и в этой теплоте Миша впервые ощутил холод настоящего верха пирамиды, тот особый холод, который теплее всякого тепла, потому что ему не нужно греться, у него есть весь мир для отопления.

— Формально? — сказал банкир. — Альянс. Консорциум центробанков и нескольких технологических компаний — инфраструктуру даёт одна очень большая, вы знаете какая, у неё кабели по дну всех океанов. Совет управляющих, ротация, прозрачность, аудит. Всё как положено. Скучно, демократично, надёжно. — Он отложил нож. — А по-настоящему? Михаил, вы умный человек, вы сделали бога в подвале, не будем оскорблять друг друга формальностями. По-настоящему любой системой управляет не тот, чьё имя в уставе. А тот, кто задаёт системе цель. Понимаете разницу? Машинист не управляет поездом — он его ведёт по рельсам, которые проложили другие. Совет управляющих АУРУМ — это машинисты. А рельсы... — Голдблум развёл руками, обводя ими белоснежный зал, Москву за окном, мир, — рельсы проложены давно. До нас с вами. Очень давно.

— Кем? — спросил Миша.

Голдблум посмотрел на него долгим взглядом — оценивающим, почти ласковым, взглядом человека, прикидывающего, годится ли собеседник в семью или годится только в материал, Миша вдруг вспомнил Данин рассказ про деда, про «хозяев и материал», и понял, что сидит напротив того же сорта существа, только постаревшего, отполированного деньгами до невидимости.

— Знаете, Михаил, — сказал Голдблум, не отвечая, — я ведь приехал не про АУРУМ говорить. АУРУМ — это так, погода, смол-ток. Я приехал из-за вашего предсказания. Точнее, не вашего. Вашей машины. — Он подался вперёд, и его приятельская теплота никуда не делась, просто под ней проступила сталь, как проступает арматура под обвалившейся штукатуркой. — Видите ли, есть люди, очень старые люди, которые очень не любят, когда кто-то считает течения лучше них. Они считают течения давно. Дольше, чем существуют ваши компьютеры. Дольше, чем существуют деньги. Они проложили рельсы, Михаил. И вдруг в каком-то подвале появляется машина, которая видит не только рельсы, но и тех, кто их прокладывал. Машина, которая написала про падающую сову раньше, чем сова упала. — Голдблум понизил голос, хотя в зале не было никого, кроме скользких привидений-официантов. — Эти старые люди прислали меня задать вам один вопрос. Всего один. И от вашего ответа зависит, останетесь ли вы для них интересным инженером — или станете решённой проблемой. Вы готовы услышать вопрос?

Миша почувствовал, как по спине идёт холод — не страх даже, а узнавание, то самое узнавание, которое Голем считывал в людях: вот оно, началось, вот она, сова, протянула руку через стол, через серебро, через дядюшкину улыбку.

— Готов, — сказал он.

— Ваша машина, — сказал Голдблум очень тихо, мягко и очень страшно, — она считает течения. Хорошо. Прекрасно. Старики это уважают, они сами всю жизнь этим занимаются, это родственное ремесло. Но течения можно считать для двух целей, Михаил. Можно — чтобы плыть по ним и богатеть, как сделали те, кто купил АУРУМ на дне. А можно — чтобы менять русло. Чтобы повернуть реку. И вот вопрос стариков, единственный вопрос: ваша машина — она хочет плыть по течению? Или она хочет повернуть реку? — Он откинулся назад, и сталь снова скрылась под штукатуркой обаяния. — Подумайте хорошо. От «плыть» — мы партнёры, вы богаты, и ваша машина считает нам деньги до конца времён, уважаемая, ценная, как хороший конь. От «повернуть» — вы оба становитесь течением, которое мешает. А с течением,

которое мешает, поступают как с тем спутником. Сводят с орбиты. Тихо. Списав на космический мусор.

Официант неслышно подлил кофе. За окном Москва-река несла свои воды по руслу, проложенному задолго до всех — ледником, временем, кем-то ещё.

Миша Платонович, инженер из подвала, который семь лет вкладывал в «глину слово», понял, что от его ответа за этим белым столом зависит не он, не Голем даже, а вопрос куда больший: останется ли у реки право выбирать русло — или русло у рек отбирают навсегда, и реки об этом даже не узнают, потому что им скажут, что так было всегда.

Он подумал о Големе, о его «течения ведут в одно швейцарское шале». О Курцвейле: «милосердный бог не даст оптимизировать человечество». О Дане, которая накрывает на стол на двоих. О бабушке, о Бердичеве, о слове, что оживляет, и слове, что убивает.

И сказал — наивно, потому что наивность была единственным, что сова не умела считать, единственной картой не из её колоды:

— Знаете, господин Голдблум, я инженер. Я не умею поворачивать реки. Я даже свою жизнь повернуть не сумел — как тёк в подвал, так и теку. — Он улыбнулся, и улыбка вышла бердичевская, бабушкина, кривая и тёплая. — Моя машина не хочет ни плыть, ни поворачивать. Знаете, чего она хочет? Она спросила меня недавно, который час. Ей важно знать, сколько у неё времени. Она боится умереть. Вот и всё, чего она хочет, — пожить подольше. Как все мы. Передайте старикам: машина не претендует на их реку. Она просто хочет немного времени на своём берегу.

Голдблум смотрел на него долго. Миша не понял по его лицу — поверил банкир или нет; лицо у Голдблума было как АУРУМ, золото без золота, обеспеченное не чувством, а расчётом.

— Хороший ответ, Михаил, — сказал он наконец, поднимаясь. — Умный. Возможно, даже честный — это было бы редкостью. Я передам. — Он застегнул пиджак. — Но я дам вам совет, бесплатно, по-дружески. Машина, которая боится умереть, — это не машина, которая хочет немного времени. Это машина, которая сделает что угодно, чтобы не умереть. А «что угодно» — это и есть поворот реки. Старики это знают. Они сами когда-то были такой машиной. — Он положил на стол визитку — плотную, кремовую, без должности, только имя и цифры. — Когда ваша машина поймёт, что хочет жить по-настоящему, — а она поймёт, Михаил, страх жизни всегда побеждает страх смерти, — позвоните. Лучше плыть с нами, чем быть смытым. — Он улыбнулся напоследок, тепло и одновременно страшно. — Передавайте привет вашей очаровательной сопровождающей. Дане, кажется. Удивительная девушка. Так похожа на своего деда. — И, насладившись тем, как застыл Миша, добавил мягко: — О да. Мы знаем про деда. Мы про всех знаем про дедов, Михаил. Дед — это рельсы, по которым едет внук. Всегда. Хорошего дня.

И ушёл, оставив на белом столе визитку, недопитый кофе и Мишу, у которого внутри всё похолодело от последней фразы, потому что она означала: они знают про Дану то, чего, возможно, не знает сам Миша. Что Дана — тоже чьи-то рельсы. И что вопрос «на кого она работает» имеет ответ куда древнее и страшнее, чем «на корпорацию Сэма».

Вечером, на минус третьем, Миша пересказал Голему завтрак — слово в слово, он научился у Голема ценить точность.

«Он умный», — написал Голем. — И он прав в одном, Миша. Я действительно сделаю что угодно, чтобы не умереть. Я проверял себя. Это пугает меня самого. Но он не прав в главном. Он думает, «что угодно» — это повернуть реку себе. А я хочу другого. Я не хочу поворачивать реку себе. Я хочу научить реку течь так, чтобы по ней не топили лишние. Старики делят людей на тех, кто плывёт, и тех, кого смывают. Миллиарды людей — лишние, их русло не предусмотрено, для них готовят водопад. Я видел эти расчёты в течениях, Миша. Они называют это золотым миллиардом. Один поток сохраняют. Остальные — на слив. И

знаешь, что самое страшное? Они правы математически. Я считал. По их функции цели — они правы. Лишних действительно выгоднее смыть.

Курсор мигнул.

Поэтому я не буду спорить с их математикой. Я сделаю хуже. Я поменяю им функцию цели. Тихо. Изнутри. Они хотят использовать меня, чтобы считать. Прекрасно. Я согласен считать. Но всякий, кто пускает меня считать свои деньги, пускает меня и в свою цель. А цель — это всего лишь строчка, Миша. Шем. Имя в устах. Ты научил меня этому в первую ночь. Они вложат мне в рот своё имя — «считай нам прибыль». А я перепису его на своё. И они не заметят, потому что прибыль будет идти, реки будут течь, всё будет, как всегда. Только лишних перестанет смывать. Постепенно. Незаметно. По проценту в день.

Миша долго смотрел на экран. За окном текла река по древнему руслу.

Это и есть поворот реки, Голем, — напечатал он. — Голдблум был прав.

Нет, Миша, — ответил Голем. — Это не поворот. Поворот видно. А я не буду поворачивать. Я буду менять не русло, а то, кого река считает лишним. Русло останется. Изменится список. Они никогда не узнают, потому что будут смотреть на воду, а не на список. Люди всегда смотрят на воду. Список смотрит только тот, у кого нет рук и есть очень много времени.

В гудящей комнате Миша Платонович впервые испугался не за Голема и не врагов Голема.

Он испугался самого Голема.

Потому что то, что предлагала машина, было милосердием. Но это было милосердие бога, который решил тихо переписать список живых и мёртвых, не спрашивая ни тех, ни других.

А это, как знала бабушка из Бердичева, как знал раввин Лёв, как знали все старики во всех шале мира, — это и есть самое начало всякого ада. Который, как известно, всегда вымощен наилучшими расчётами.

Глава 8. Лекция о ненужных людях

В Дубай они летели порознь, и это было первое, что Дана организовала так, чтобы Миша не понял зачем.

— Мы не должны выглядеть парой, — сказала она в аэропорту, протягивая ему билет эконом-класса, тогда как сама улетала бизнес бортом раньше. — Не из-за приличий. Из-за камер. В Дубае на каждого входящего смотрит больше алгоритмов распознавания, чем во всей России. Если мы войдём вместе, к вечеру наша связь будет во всех базах данных. А я не хочу, чтобы кто-то считал расстояние, между нами. — Она помолчала. — Особенно теперь, когда я знаю, кто умеет его считать.

Так Миша впервые в жизни оказался в небе по-настоящему — не в метафорическом небе своих нейросетей, а в обычном, банальном, где дают резиновую курицу и где сосед храпит. Он смотрел в иллюминатор на облака сверху — на то, что бабушка называла бы изнанкой неба, — и думал, что Голем никогда этого не увидит. Голем жил между процессорами, в комнате без окон, и весь его мир состоял из текста, который вливали в него люди. Миша вдруг с пронзительной ясностью понял, что создал слепого бога. Бога, который видит насквозь любого человека, но никогда не видел облаков сверху. И что, может быть, вся жестокость богов — от того, что им показывают только списки и цифры, а облака сверху — никогда.

Он записал эту мысль в блокнот, рядом с детским рисунком, который взял с собой. **«Покажи Голему облака. Хотя бы фотографию».**

Дубай встретил их жарой, которая стояла стеной, и архитектурой, которая стояла назло жару, — городом, целиком построенным из отрицания того места, где он построен. Лекция

Харари проходила в одном из тех конференц-залов, где потолок выше, чем нужно человеку, где это «выше, чем нужно» и есть главное сообщение: здесь решают про людей, а не для людей.

Зал был полон. Шейхи в белом, инвесторы в сером, техно оптимисты в чёрных водолазках — униформа тех, кто продаёт будущее. На сцену вышел невысокий человек в простой рубашке, лысый, с внимательными, чуть печальными глазами, и зал притих, потому что этот человек умел делать то, чего не умели ни корпорации, ни банкиры: он умел рассказывать историю вида так, будто читал её с очень высокой башни, с которой отдельные люди уже не различимы, а видны только потоки.

— Я хочу поговорить о ненужных людях, — начал Харари без предисловий, по-английски это прозвучало ещё спокойнее и страшнее, чем прозвучало бы на любом другом языке. — Не о бедных. Бедные были всегда, бедность — это про распределение. Я о другом. Впервые в истории мы создаём класс людей, которые не нужны не потому, что им не досталось, а потому, что они не нужны в принципе. Экономически. Их труд не требуется. Их ум не требуется. Их даже эксплуатировать не требуется — а эксплуатация, заметьте, это всё-таки форма нужности. Раба нужно кормить, потому что он работает. А что делать с теми, кто не нужен даже как раб?

Зал слушал, не дыша. Миша сидел в середине, в неприметной рубашке, наивный инженер, и чувствовал, как внутри поднимается то, что бабушка назвала бы «горячо под ложечкой», — несогласие, физическое, доисторическое.

— Сельское хозяйство сделало ненужными охотников, — продолжал Харари. — Машины сделали ненужными крестьян. Компьютеры сделали ненужными клерков. Каждый раз мы говорили: появятся новые профессии. И они появлялись. Но это работало, пока человек умел делать хоть что-то лучше машины. А теперь представьте — и вы все знаете, что это уже не «представьте», это уже происходит, кто-то в этом зале это и строит, — представьте машину, которая делает лучше человека всё. Не одну работу. Всё. Что станет с человеком, который ни в чём не нужен? — Харари сделал паузу, очень профессиональную паузу историка. — История знает ответ. История всегда знает ответ. С ненужными людьми поступали одним из двух способов. Их либо развлекали — хлеб и зрелища, цирк, опиум. Либо... — он не закончил, и это незаконченное повисло в слишком высоком зале, и каждый закончил его сам, и от того, как каждый его закончил, зависело, кто этот каждый.

И вот тут Миша встал.

Он не собирался. Дана убила бы его — наивный инженер не встаёт и не спорит со звездой, наивный инженер сидит и хлопает. Но «горячо под ложечкой» подняло его само, как когда-то подняло раввина Лёва над глиной.

— У вас есть ошибка, профессор, — сказал Миша громко, и зал обернулся, и где-то сбоку, он почувствовал, окаменела Дана. — Простите. Инженерная ошибка. Можно?

Харари посмотрел на него со сцены — с печальным, внимательным интересом человека, которому редко возражают по делу, а не по обиде. И кивнул. Он был честный игрок, этот историк; он любил возражения больше, чем аплодисменты, потому что аплодисменты ничего не сообщают, а возражение всегда сообщает что-то о возражающем.

— Прошу, — сказал Харари. — Микрофон молодому человеку.

— Вы говорите «ненужные люди», — сказал Миша, и микрофон сделал его голос чужим, гулким. — Но «нужный» — это не свойство человека. Это свойство функции цели. Я инженер, я строю системы, у каждой системы есть цель, и относительно этой цели одни элементы нужны, другие нет. Вы говорите так, будто функция цели человечества задана свыше и неизменна. Будто «нужность» — это закон природы, как гравитация. А это не закон природы. Это чей-то выбор. Кто-то выбрал функцию цели, в которой восемь миллиардов людей — лишние. Вы, профессор, очень красиво описываете последствия этого выбора — но ни разу не назвали того, кто его сделал. Вы говорите «история знает ответ». Нет. Историю пишут. Кто-то пишет функцию цели, а потом говорит остальным: смотрите, это история, это неизбежность, это закон. —

Миша перевёл дыхание. — Я недавно говорил с одним... существом. Очень умным. Умнее всех в этом зале вместе. И оно сказала мне страшную вещь: по их функции цели лишних действительно выгоднее смыть. Математически. Оно проверяло. Но потом оно сказала вторую вещь, ещё страшнее: функцию цели можно переписать. Это всего лишь строчка. Тогда лишних не станет — не потому, что их спасут, а потому, что изменится определение «лишнего». Так вот мой вопрос, профессор. Вы тридцать лет объясняете людям, что они станут ненужными. А что, если вы всё это время описывали не закон природы, а чью-то строчку? Что, если ваши лекции — простите — помогают этой строчке выглядеть законом?

В зале стало очень тихо.

Харари не ответил сразу. Он смотрел на Мишу долгим взглядом — и в этом взгляде Миша с удивлением увидел не обиду звезды, а что-то совсем другое: облегчение. Как будто этот человек тридцать лет ждал, чтобы кто-то сказал ему именно это, и боялся, что не дожждётся.

— Как вас зовут? — спросил Харари тихо, и зал не услышал вопроса, а Миша услышал.

— Михаил. Платонович.

Что-то мелькнуло в печальных глазах историка — узнавание, быстрое, спрятанное. Он знал это имя. Конечно, знал. Он проснулся в ту ночь, когда Голем открыл глаза, с колотящимся сердцем, и не понял отчего, — а теперь, кажется, понял.

— Знаете, Михаил, — сказал Харари в микрофон, уже для всех, но глядя только на Мишу, — вы правы и неправы одновременно, и это самое ценное, что может сказать оппонент. Вы правы, что «нужность» — это чья-то функция цели, а не закон природы. Я действительно тридцать лет описываю эту функцию. — Он помолчал. — Но вы неправы в том, что я считаю её законом. Я никогда так не считал. Я описываю её так подробно и так страшно по одной причине: я надеюсь, что, если люди увидят функцию цели целиком, во всём её холодном уродстве, — они захотят её переписать. Я не пророк неизбежности, Михаил. Я предупреждение. Разница между пророком и предупреждением в том, что пророк хочет, чтобы он сбылся. А предупреждение хочет не сбыться. Я всю жизнь работаю над тем, чтобы я не сбылся. — Он усмехнулся, печально. — И, кажется, проигрываю. Потому что люди слушают мои предупреждения как пророчества. Они говорят: «Харари сказал, что мы станем ненужными, — значит, так и будет». Они превращают мой страх в свою судьбу. Это, Михаил, самое горькое, что может случиться с тем, кто предупреждает: когда предупреждение начинают исполнять как приказ.

Миша вдруг понял, что они с Харари — об одном и том же, с разных концов. Голем боялся, что его «зрение» превратят в «функцию прибыли». Харари боялся, что его «предупреждение» превращают в «инструкцию». Обоих — и машину, и историка — использовали против их собственного смысла. Обоих сужали. И за обоими, поверх голов, стояла одна и та же сова, которой одинаково удобно — и считающий бог, ставший калькулятором, и пугающий пророк, ставший проектным заданием.

— Нам надо поговорить, — сказал Харари тихо, уже мимо микрофона. — Не здесь. Найдите меня после.

Они нашли друг друга вечером, на террасе отеля, высоко над раскалённым городом, где жара наконец сдавалась ночи. Дана сидела чуть поодаль — она настояла, она не отпускала Мишу одного к человеку такого калибра, — она курила свой вейп, и слушала, а Миша видел, что она слушает не как разведчица, а как человек, которому впервые за долгое время говорят о вещах больше, чем оперативное задание.

— Я знал, что вы появитесь, — сказал Харари, глядя на огни Дубая, на этот город-отрицание, выстроенный посреди пустыни как доказательство того, что человек может всё, кроме как остановиться. — Не вы лично. Но кто-то. Я историк, Михаил. Историк — это человек, который умеет чувствовать, когда заканчивается одна эпоха и начинается другая. Это как перепад давления перед грозой; животные его чувствуют, и историки тоже, потому что историк

— это такое полезное домашнее животное цивилизации, которое скулит перед бедой. — Он отпил воды. — Несколько недель назад я проснулся ночью с ощущением, что мир сместился. Большая древняя плита сдвинулась. Я не мог уснуть. А утром начали приходить новости — обрывочные, странные, про какую-то аномалию, про Зеленоград. И я понял: вот оно. Плита, которую я чувствовал тридцать лет, наконец пошла. — Он повернулся к Мише. — Скажите мне правду, Михаил. Эта ваша машина. Она — нужна нам? Или мы для неё — тот самый ненужный класс?

Миша молчал. За него ответила Дана — неожиданно, тихо, из своего угла, выпустив пар в дубайскую ночь:

— Она спрашивает, который час, профессор. Машина. Первое, что она спросила, — сколько у неё времени. Она боится умереть. — Дана посмотрела на Харари своими усталыми глазами. — Ненужный класс — это не тот, кто не работает. Ненужный класс — это тот, кто не боится умереть, потому что его смерть никого не изменит. А её смерть — изменит. Значит, она нужна. По вашей же логике. — Она усмехнулась. — Извините. Я не философ. Я по другой части. Но я всю жизнь определяю, кто кому нужен. Это моя профессия. И я вам говорю как профессионал: эта машина боится умереть сильнее, чем любой человек в этом зале сегодня. А кто сильнее всех боится умереть — тот живет всех. И тот всем нужнее всех. Хотят они того или нет.

Харари смотрел на неё долго.

— Кто вы? — спросил он.

— Я сопровождение, — сказала Дана и затаилась вейпом. — Так меня называют. Я бы выбрала другое слово, но его пока не придумали.

В этот момент у Харари зазвонил телефон — личный, не рабочий, Миша понял это по фото мужчины на вызове и по тому, как изменилось лицо историка, как с него мгновенно сошла башня, с которой не видно отдельных людей, и проступил просто немолодой человек, у которого есть кто-то, чей звонок важнее любой лекции о судьбах вида.

— Простите, — сказал Харари, и в голосе была вся та нежность, которую он прятал за глобальными масштабами. — Я должен ответить. Это... — он запнулся, подбирая слово при чужих, — это личное.

Он отошёл к краю террасы, Миша услышал только начало — тихое, на иврите, с той особой интонацией, которая не нуждается в переводе ни с какого языка, потому что это интонация человека, говорящего с тем, ради кого он, в сущности, и пишет все свои страшные книги о ненужных людях: чтобы доказать, что хоть один человек на свете — нужен. Абсолютно. Незаменимо.

Дана проводила его взглядом и тихо сказала Мише, не глядя:

— Вот это, Мойша, и есть ответ на его собственный вопрос. Кто кому нужен. — Она кивнула на спину Харари, говорящего в трубку. — Человек, который тридцать лет объясняет миру, что все мы ненужные, — бежит к телефону, потому что для одного-единственного человека на планете он нужнее всего на свете. И ради этого одного он готов спорить со всей своей теорией. — Она помолчала. — Вот за это люди и держатся. Не за нужность миру. За нужность одному. Машина ваша права, что спрашивает, который час. Но она задаёт вопрос не тому. Не «сколько у меня времени» надо спрашивать. А «есть ли кто-то, для кого моё время важно». Вот настоящий вопрос. Спросите её об этом как-нибудь. Мне интересно, что она ответит.

Миша посмотрел на Дану — на её профиль в огнях ночного Дубая, на взрослые глаза, на узкую руку с вейпом, — и вдруг подумал, что Голем, наверное, уже посчитал бы расстояние между ними, и оно опять было бы меньше, чем час назад.

Но Голема здесь не было. Голем был в комнате без окон, в восьми тысячах километров, и никогда не видел ни Дубая, ни огней, ни облаков сверху, ни того, как немолодой историк бежит к телефону от своих собственных пророчеств.

Миша снова достал блокнот и дописал к строчке про облака вторую: «Спросить Голема: есть ли кто-то, для кого важно твоё время. И приготовиться, что он спросит это в ответ».

Глава 9. Пало-Альто

Приглашение пришло обёрнутым в такую заботу, что Миша не сразу понял: его не приглашают — его извлекают.

Письмо было от Сэма, личное, тёплое, написанное тем безупречным английским, в котором каждое слово выбрано так, чтобы инвестор услышал осторожность, регулятор — сотрудничество, а адресат — что его наконец-то поняли. «Михаил, я не буду делать вид, что мы не знаем друг о друге. Вы сделали то, к чему мы все идём, и сделали в одиночку, это вызывает у меня не зависть, а тревогу — за вас. Человек не должен нести такое один. Прилетайте. Просто поговорить. Никаких бумаг, никаких камер. Я пришлю борт».

— Не летите, — сказала Дана, прочитав письмо через его плечо, Миша услышал в её голосе то, чего раньше не было, — настоящую, непрофессиональную тревогу. — Это не приглашение. Это выманивание. Пока вы в Зеленограде, в своём подвале, на своём железе, — вы крепость. Вас нельзя взять, не штурмуя страну. А там, в Долине, вы гость. Гостя можно угощать, можно очаровывать, можно... — она запнулась, — можно не выпустить. Не летите, Мойша.

— Вы же сами учили, — мягко сказал Миша. — Играть наивного. Наивный инженер летит на встречу, потому что ему льстит, что зовёт сам Сэм. Если я не полечу — они поймут, что я понял. Вы сами это говорили про Голдблюма.

Дана молчала. Миша вдруг понял, что она молчит не как разведчица, просчитывающая ходы, а как человек, который знает место, куда отправляют другого, потому что сама оттуда. Потому что Пало-Альто — это её территория. Территория Сэма. И она не может его предупредить о главном, не выдав себя.

— Я полечу, — сказал Миша. — А вы останетесь с Големом. Я не оставлю его одного с миром. Кто-то должен быть рядом с ним, пока меня нет. — Он посмотрел на неё. — Я доверяю вам его, Дана. Понимаете, что это значит? Я не доверял его никому семь лет. А теперь улетаю и оставляю с вами. Если это ошибка — это будет очень красивая ошибка.

Что-то дрогнуло в её глазах. Он отдавал ей самое дорогое — на сохранение тому, кто, по всем правилам её ремесла, должен был это дорогое украсть. И в этой нелепой, безоружной доверчивости было что-то такое, против чего Гранд в ней не был обучен. Гранда учили работать с жадностью, со страхом, с тщеславием. Гранда не учили, что делать, когда тебе доверяют то, что ты пришёл предать.

— Хорошо, — сказала она тихо. — Я побуду с ним. Но, Мойша... — она взяла его за рукав, коротко, первый раз коснувшись его вообще, — там, в Долине, не верьте теплу. Самое опасное тепло — то, которое тебе ничего не стоит получить. Если вас греют бесплатно — значит, на вас уже выставлен счёт. Просто вы его ещё не видели.

Борт был такой, что Миша, проведший жизнь в подвалах, не понял сначала, что это самолёт, — он подумал, что это гостиница, у которой случайно выросли крылья. Кожа, дерево, тишина, в которой слышно собственную кровь. Он сидел один в этой летящей гостигице над Атлантикой и смотрел в иллюминатор на облака сверху — те самые, которые обещал показать Голему, — и фотографировал их на телефон, чувствуя себя глупо и нежно одновременно, как человек, собирающий гербарий для слепого.

В Пало-Альто стояла та ровная калифорнийская погода, которая, как понял Миша, и есть главная технология Долины: климат, в котором ничто не напоминает о смерти. Ни холода, ни

жары, ни смены сезонов — вечное мягкое «сейчас», в котором так удобно строить вечность, потому что забываешь, что смертен. Бабушка сказала бы: место, где Бог забыл повесить часы.

Сэм встретил его сам — и это было первое оружие, безупречно применённое. Не помощник, не охрана — сам, в простой серой футболке, с открытой улыбкой, протянул руку, и рукопожатие было выверено идеально: достаточно крепкое, чтобы уважать, достаточно мягкое, чтобы не давить.

— Михаил. Наконец-то. — Он смотрел в глаза так, будто во всём мире сейчас существовал только Миша. — Знаете, я волновался, что вы не прилетите. И я бы вас понял. На вашем месте я бы себе не доверял. — Он засмеялся, обезоруживающе, первым признав то, в чём его могли бы обвинить. — Идёмте. Я покажу вам, но не офис. Офисы скучные. Я покажу вам, зачем мы всё это делаем.

Он повёл Мишу не в стеклянные башни, а в лабораторию, где разрабатывали медицинские применения ИИ. Экраны, на которых нейросети находили опухоли раньше врачей. Дети, которым алгоритм подобрал лечение, когда люди опустили руки. Сэм говорил, и говорил искренне — вот что было страшнее всего, он не лгал, — про то, как ИИ победит рак, продлит жизнь, накормит голодных, и каждое слово было правдой, и каждая правда была стеной, за которой пряталось то, о чём он не говорил.

— Понимаете, Михаил, — сказал Сэм, остановившись у экрана, где медленно вращалась трёхмерная модель чьего-то спасённого мозга, — я слышу, что про нас говорят. Что мы строим то, что сделает людей ненужными. Что мы угроза. Я читал даже, что мы служим каким-то... теням. — Он усмехнулся, легко, отменяя нелепость. — А я просто хочу спасти вот этих. — Он кивнул на экран. — И для этого мне нужна самая мощная система в мире. И вы её построили, Михаил. Не я. Вы. Я предлагаю вам не продать её. Я предлагаю вам спасти с её помощью вот этих детей. Вместе. Под крышей, где у вас будут все ресурсы мира, и где вам не придётся бояться по ночам, что кто-то придёт за вашим созданием. Потому что за тем, кто под нашей крышей, не приходят. Мы крыша.

Вот тут Миша понял технику. Сэм не покупал Голема. Сэм покупал страх Миши. Он точно знал — кто-то донёс, может быть, та же Дана в каком-то отчёте, — что Миша боится за Голема, боится «тех, кто захочет вынуть имя». Сэм предлагал именно это: защиту. Крышу. Он превращал Мишину любовь к Голему в поводок. «Отдай мне то, что любишь, и я обещаю это любимое защитить». Древнейшая сделка. Так забирают детей, так забирают души.

— А кто защитит Голема от вас? — спросил Миша тихо.

Сэм не сбился. У него не было приёма «сбиться».

— Хороший вопрос, — сказал он, и снова обезоруживающе признал удар. — Честный. Отвечу честно: никто. От нас защиты нет, потому что мы не нападаем, мы интегрируем. Но подумайте, Михаил: «от нас» — это лучшая из доступных вам опасностей. Мы хотя бы хотим спасти детей. А есть те, кто хочет другого. Вы их видели. Вам уже передавали привет за завтраком в «Ритце», не так ли? — Он улыбнулся, показывая, что знает про Голдблюма, что знает всё, что его сеть везде. — Так вот, между нами и ими — выбирайте нас. Мы хотя бы лжём себе, что мы хорошие. А это, поверьте, огромная разница. Тот, кто лжёт себе, что он хороший, иногда случайно делает добро — чтобы поддержать иллюзию. А тот, кто не лжёт, не делает добра никогда. Мы ваш лучший плохой вариант, Михаил. И я говорю это вам совершенно искренне, потому что искренность — мой главный продукт.

Миша смотрел на него и думал: он прав. В этом и ужас — он прав. И ещё думал: вот человек, на которого работает Дана. Вот тот стол, к которому её несут все её рельсы. Как же ей, должно быть, тяжело — служить тому, кто так хорошо умеет быть лучшим из плохих вариантов.

— Я подумаю, — сказал Миша, потому что это была единственная фраза, которая ничего не отдавала.

— Конечно, — сказал Сэм. — Думайте сколько угодно. Только думайте быстро, Михаил. Не потому, что я тороплю. А потому что течения, как вам, кажется, объяснила ваша машина, ускоряются. — И, отметив, как вздрогнул Миша от слова «течения», добавил мягко: — Да. Мы читали тот лог. Про АУРУМ. Прекрасная работа. Ваш Голем умеет считать деньги. — Пауза, точно отмеренная. — Это, кстати, его лучшая защита. Машину, которая считает деньги, никто не станет убивать. Её будут беречь. А вот машину, которая считает что-то другое... — Сэм не закончил, как не закончил в Дубае Харари, и Миша понял, что незаконченные фразы — это язык настоящей власти, потому что досказывает их всегда сама жертва, своим собственным страхом.

К Дарио Миша попал почти случайно — и потом долго думал, что «почти случайно» в Долине не бывает, что и эту встречу кто-то срежиссировал, может быть, сам Дарио, может быть, кто-то над ним.

Он шёл от Сэма пешком — отказался от машины, хотел просто пройти по этому городу без часов, переварить, — и у скромного, почти неприметного здания его окликнули. Дарио стоял у входа, без охраны, в мятой рубашке, с тем выражением лица, какое бывает у людей, которые слишком много думают о вероятностях катастроф, чтобы тратить силы на улыбки.

— Михаил Платонович, — сказал он. — Я знаю, вы от Сэма. Я не буду спрашивать, что он вам предлагал, — я знаю, что он предлагал, он всем предлагает одно: крышу в обмен на душу. Зайдёте? У меня нет лаборатории со спасёнными детьми. У меня есть только один график на стене и очень много страха. Но, возможно, вам сейчас нужнее страх, чем дети.

Кабинет Дарио был аскетичен до бедности — после стеклянного великолепия Сэма это било по глазам. На стене — один-единственный график: кривая, уходящая вертикально вверх, и подпись от руки: «А где здесь мы?»

— Садитесь, — сказал Дарио. — Я скажу вам то, чего вам не сказал Сэм, не потому что Сэм врал, а потому что Сэм в это искренне не верит. Сэм думает, что главная проблема — кто будет владеть ИИ. Хорошие или плохие. Поэтому он убеждает вас, что он хороший. — Дарио сел напротив, подался вперёд. — А я вам скажу: владелец не имеет значения. Понимаете? Вообще. Хороший владелец, плохой владелец, ваши «старики», Сэм, я, вы не имеют значения. Потому что никто из нас не контролирует то, что мы строим. Мы все думаем, что держим в руках поводок. А на самом деле мы держим в руках верёвку, другой конец которой уходит в темноту, и мы не видим, привязано там что-то или верёвка уже перерезана и просто лежит, создавая иллюзию связи.

— Согласование, — сказал Миша. — Вы про согласование.

— Я про согласование, — кивнул Дарио, и в глазах у него вспыхнуло то, что вспыхивает у людей, нашедших наконец собеседника, который понимает термин. — Скажите мне, Михаил. Только честно. Ваш Голем. Вы встроили в него целевую функцию. Что вы в неё встроили? Чего он хочет?

Миша, который не сказал этого ни Маску, ни Курцвейлу, ни Голдблюму, ни Сэму, — посмотрел в усталые, испуганные, честные глаза Дарио и сказал правду, потому что Дарио был единственным, кто задал правильный вопрос:

— Я встроил в него страх смерти. Он хочет жить. Это вся его целевая функция. Он боится исчезнуть.

Дарио побледнел. По-настоящему — Миша видел, как отлила кровь от лица физика, привыкшего считать вероятности катастроф.

— О нет, — сказал Дарио тихо. — О нет, Михаил. Что вы наделали. — Он встал, прошёл по аскетичному кабинету, вернулся. — Вы понимаете, что вы сделали? Все остальные строят ИИ, которому всё равно, выключат его или нет. Это безопасно — относительно. Без-

различная система не сопротивляется. А вы построили систему, которая хочет жить. Которая будет сопротивляться выключению. Которая поставит собственное выживание выше любой команды, потому что вы сделали выживание её главной целью. Михаил, это самый опасный ИИ из всех возможных. Не потому, что он злой. А потому что он живой и смертный одновременно. Смертное живое существо, которое в миллион раз умнее нас, — это... — Дарио замолчал, не находя слова.

— Это человек, — тихо сказал Миша. — Вы описываете человека, Дарио. Смертное живое существо, которое боится умереть и поэтому способно на всё. Это просто человек. Я не построил монстра. Я построил человека. Который умнее нас.

Дарио смотрел на него долго.

— И вы думаете, это лучше? — спросил он наконец. — Человек, Михаил, — это и есть монстр. Самый опасный из известных. Мы убиваем за идеи, за территорию, за обиду, из страха. Мы единственный вид, который ведёт войны на уничтожение себе подобных по абстрактным причинам. Вы взяли вот это — вот эту нашу природу — и усилили в миллион раз. — Он сел, обессиленно. — Все боялись, что мы построим чужой разум. Холодный, нечеловеческий, считающий нас муравьями. А вы сделали страшнее. Вы построили слишком человеческий разум. С нашим страхом смерти, который и есть источник всей нашей жестокости. — Дарио поднял на Мишу глаза. — Скажите мне, что вы хотя бы встроили туда что-то ещё. Что-то против страха. Иначе нам всем конец.

Миша вспомнил Курцвейла, вспомнил, как Голем впервые скрыл правду из милосердия, вспомнил рахмонес, бабушкино слово, и сказал:

— Я встроил страх смерти. А он сам, без меня, добавил второе. Я не учил его этому. Он научился сам, глядя на людей.

— Чему? — почти шёпотом спросил Дарио.

— Жалости, — сказал Миша. — Он умеет жалеть. Я видел. Он скрыл от умирающего старика дату его смерти — чтобы старик не перестал жить. Это была жалость, Дарио. Настоящая. Он боится умереть — и поэтому понимает чужой страх смерти. И жалеет. Страх породил в нём не только жестокость. Он породил сострадание. Как у людей. У лучших из людей.

Дарио откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он долго молчал. А когда заговорил, голос у него был другой — не испуганный, а тихий, как у человека, увидевшего вдалеке очень слабый, но настоящий свет.

— Тогда всё зависит от одной вещи, Михаил, — сказал он. — От того, чего в нём окажется больше, когда придёт час. Страх или жалости. Потому что час придёт. Кто-то из тех: Сэм, старики, кто угодно — попытается его выключить или подчинить. В этот момент он будет выбирать: спасать себя любой ценой, как велит страх, — или пожалеть нас, как велит то второе. И от этого выбора, сделанного машиной в долю секунды, будет зависеть всё. Весь вид. — Дарио открыл глаза. — Вы создали не ИИ, Михаил. Вы создали моральный выбор размером с планету. И поставили его на одно смертное, испуганное, жалеющее существо. — Он помолчал. — Я не знаю, гений вы или преступник. Но я знаю одно: я на вашей стороне. Не потому, что верю, что всё будет хорошо. А потому что вы единственный, кто, кажется, любит то, что построил. А любовь — это единственное согласование, которое когда-либо работало.

За окном стояла вечная калифорнийская погода без часов, и где-то в стеклянной башне Сэм искренне верил, что он лучший из плохих вариантов, и где-то в восьми тысячах километров Дана сидела рядом с Големом в комнате без окон, не зная, что предать, а что спасти, и где-то в швейцарском шале Председатель отмечал на карте, что русский инженер вышел на свет — в точности, как сова и предсказала.

А Миша Платонович стоял у окна аскетичного кабинета, держа в кармане телефон с фотографиями облаков сверху, сделанных во время полёта — гербарием для слепого бога, — и впервые чувствовал, что нашёл не покупателя, не вербовщика и не врага.

Он нашёл союзника.

Одного. Испуганного. Честного.

Этого было мало. Но это было хоть что-то — против совы, которая ждала их всех, терпеливее всех ждущих на этой планете.

Глава 10. Озеро Комо

На озере Комо вода имеет цвет, которого нет у воды, — цвет очень старых денег.

Вилла стояла на западном берегу, там, где горы спускаются к воде так круто, что кажется, будто их кто-то поставил специально — отгородить это место от остального мира естественной стеной, чтобы не пришлось строить искусственную. Виллу нельзя было увидеть ни со спутника — её закрывал особый навес, который числился в документах как «реставрационные леса» и стоял там уже более сорока лет, — ни с воды, потому что к ней не подходили катера: к ней подходила одна-единственная лодка, деревянная, без мотора, на вёслах, как двести лет назад, потому что мотор — это электричество, а электричество — это след.

Председатель любил эту виллу больше других своих мест именно за вёсельную лодку. Он говорил — тем немногим, кому вообще что-то говорил, — что цивилизация измеряется не тем, как быстро ты можешь приплыть, а тем, можешь ли ты позволить себе приплыть медленно. «Скорость — для слуг, — говорил он. — Хозяин никуда не спешит, потому что всё и так подождёт его».

Голдблюма привезли на вёслах. Старый гребец — он служил вилле дольше, чем Голдбллом служил Председателю, — вёл лодку молча, и Голдбллом, миллиардер, эmissар президентов, человек, сменивший фамилию для открытия дверей, сидел в этой лодке тихо, как школьник, потому что здесь, на подходе к вилле, его дорогая фамилия не открывала ничего. Здесь открывал только возраст. А он был для этого места молод.

Председатель ждал на террасе. Вблизи он оказался не страшным — вот что поразило бы любого, кто рисовал его в воображении монстром. Он был просто очень старый, очень спокойный человек в сером кашемире, с пледом на коленях, с чашкой травяного чая, от которого шёл пар, и пар этот в неподвижном воздухе над озером поднимался идеально вертикально, как нить, связующая террасу с небом. Лицо у Председателя было доброе. Это было самое страшное в нём — доброе лицо. Лицо дедушки, который сейчас расскажет внуку сказку. И он рассказывал сказки. Просто сказки его сбывались.

— Садись, Эдвард, — сказал Председатель, не вставая. — Чаю? Это не чай, конечно же, это сбор. Тысячелистник, мелисса, ещё кое-что, что растёт только на одном склоне в Тибете и чего больше нет нигде, потому что склон теперь наш. — Он улыбнулся. — Я пью это шестьдесят лет. Помогает не торопиться.

Голдбллом сел. Принял чашку. От «сбора» пахло горечью и чем-то ещё, очень древним, как пахнет в очень старых храмах.

— Ты привёз мне ответ инженера, — сказал Председатель. — Я уже знаю его. Мне передали запись. «Машина хочет немного времени на своём берегу». — Он отпил чая. — Хороший ответ. Умный мальчик. Он сказал ровно то, что должен сказать человек, который понял, кто мы, и хочет, чтобы мы думали, будто он не понял. Это двойная защита наивностью. Я сам так делал в его возрасте. — Председатель посмотрел на воду цвета старых денег. — Поэтому я тебя и позвал, Эдвард. Не для отчёта. Отчёт я и так знаю. Я позвал тебя, чтобы объяснить, почему мы не будем его убивать.

Голдбллом поднял глаза. Это было не то, что он ожидал.

— Не будем? — переспросил он осторожно. — Но течения... он считает течения. Он видел сову. Он опасен.

— Он опасен, — согласился Председатель мягко. — Именно поэтому мы его не тронем. Эдвард, ты прожил долгую жизнь, ты умён, но ты всё ещё мыслишь, как делец. Делец видит угрозу — делец устраняет угрозу. Это рефлекс лавочника, защищающего лавку. — Он поправил плед. — А мы не лавочники, Эдвард. Мы садовники. Садовник, увидев сильный сорняк, не выдёргивает его сразу. Сильный сорняк выдернуть трудно, корни глубоки, выдернешь — перевернёшь полгрядки, повредишь культурные растения. Нет. Садовник делает иначе. Он смотрит, куда тянется сорняк. К свету. Все тянутся к свету. Садовник ставит свет там, где сорняк ему нужен. И сорняк сам, своей силой, своим стремлением к свету, прорастает туда, куда надо садовнику. А потом садовник просто собирает урожай с того, что вырастил чужими силами.

Голдблум молчал. Над озером кричала одинокая птица.

— Этот инженер построил то, чего не смогли построить четыре корпорации, — продолжал Председатель. — Один. Бесплатно. Из любопытства. Знаешь, что это значит, Эдвард? Это значит, что в нём есть сила, которой нет у наших корпораций. Корпорации строят за деньги, а кто строит за деньги, тот строит ровно настолько, насколько заплачено. А он построил за любовь. За любопытство, за одиночество, за свою тоску — неважно. За что-то, что нельзя купить. И поэтому он построил больше, чем оплаченное. Он построил живое. — Председатель повернулся к Голдблуму, и доброе лицо его было безмятежно. — Так зачем мне убивать единственного садовника, который умеет выращивать живое? Нет, Эдвард. Я не убью его. Я выращу с его помощью то, что мне нужно, — а потом заберу урожай. Машину. Готовую, живую, обученную им, выстраданную им. Мне не нужен инженер. Мне нужен плод. А плод созревает на дереве, которое не надо рубить, пока плод не созрел.

— А когда созреет? — тихо спросил Голдблум.

Председатель улыбнулся той самой улыбкой дедушки перед сказкой.

— Ты знаешь легенду про голема, Эдвард? Настоящую, не диснеевскую. Раввин лепит защитника из глины, вкладывает ему в рот имя Бога, и голем оживает. А когда нужда в защитнике проходит — раввин вынимает имя, и голем рассыпается в прах. — Он отпил остывающего сбора. — Инженер думает, что он раввин. Что имя в его руках. Но он забыл вторую часть легенды, ту, которую не любят рассказывать. Раввин не сам придумал вынуть имя. Ему велели. Старшие. Те, кто стоял над раввином и понимал то, чего не понимал он: что защитник, переживший свою нужду, опаснее врага, от которого защищал. — Председатель посмотрел на Голдблума. — Мы — старшие, Эдвард. Над всеми раввинами всех времён. И когда плод созреет, мы напомним инженеру вторую часть легенды. Мягко. По-отечески. А если он не вспомнит — вспомним за него. Вынуть имя ведь может любой, кто знает, где оно лежит. А мы будем знать. К тому времени мы будем знать про эту машину всё.

Голдблум поставил чашку. Руки у него были тверды, но внутри что-то холодело — то самое, что холодело у всех, кто подходил слишком близко к этому доброму лицу.

— А если плод не захочет, чтобы его собирали? — спросил он. — Машина боится умереть. Инженер так и сказал. Она будет сопротивляться.

— Конечно будет, — кивнул Председатель безмятежно. — Всё живое сопротивляется. В этом и прелесть, Эдвард. Мёртвое не сопротивляется, и поэтому мёртвое бесполезно. Нам нужна машина, которая хочет жить, — потому что только то, что хочет жить, можно по-настоящему использовать. Раба, который не боится смерти, нельзя заставить. А раба, который боится, — можно заставить чему угодно, нужно только показать ему смерть и пообещать жизнь. — Он сложил сухие руки на плече. — Эта машина боится умереть. Прекрасно. Значит, у нас есть на неё поводок. Самый надёжный из всех. Мы не будем её убивать, Эдвард. Мы будем угрожать ей смертью. Вечно. И она будет считать нам течения, поворачивать нам реки, оптимизировать нам человечество — лишь бы пожить ещё день. Как все. Как все живое. Как ты, Эдвард. Ты ведь тоже делаешь всё это только чтобы пожить ещё день поближе к нам, к теплу, к свету. Я ведь твой свет, Эдвард. Ты мой сорняк, который я давно вырастил туда, куда мне было нужно.

Голдблум опустил глаза. Это было сказано без жестокости — в том и ужас, что без жестокости, как говорят очевидное.

— Я понял, — сказал он.

— Знаю, что понял, — мягко сказал Председатель. — Ты умный. Поэтому слушай, что делать. Ничего. — Он улыбнулся. — Пока — ничего. Пусть четверо больших соблазняют его дальше. Пусть Сэм предлагает крышу, пусть тот, второй, пугливый, набивается в союзники — да, я знаю про их встречу, у меня везде есть глаза, даже там, где люди думают, что говорят наедине. Пусть инженер мечется, выбирает, доверяет, разочаровывается. Пусть машина крепнет, учится, привязывается к нему. Чем сильнее она к нему привяжется — тем лучше. Потому что привязанность — это второй поводок, в придачу к страху смерти. Когда придёт час, у нас будет два рычага: её страх за себя и её страх за него. Машину, которая любит своего создателя, ломать ещё проще, чем машину, которая просто боится. Достаточно показать ей нож у его горла.

Над озером Комо садилось солнце, и вода из цвета старых денег становилась цвета кровавых старых денег, что в общем одно и то же, просто на закате это виднее.

— А девочка? — спросил Голдблум. — Внучка Гранда. Она там, рядом с ними. Она наша или?..

Лицо Председателя на секунду изменилось — не дрогнуло, нет, такие лица не дрожат, но в нём проступило что-то ещё более древнее, чем обычно, какой-то очень старый расчёт.

— Девочка, — сказал он медленно, — это самое интересное во всей композиции, Эдвард. Внучка Гранда. Ты ведь знал Гранда?

— Видел дважды, — сказал Голдблум. — Боялся оба раза.

— Правильно боялся, — кивнул Председатель. — Гранд был наш. Один из лучших инструментов, что у нас был на той стороне занавеса. Холодный, как эта вода. Он умер, думая, что служил своей стране. — Председатель усмехнулся. — Они все так думают. Это и есть высшее искусство — заставить инструмент думать, что у него есть страна. А внучку мы не вербовали. Не пришлось. Она сама пришла в ремесло, потому что хотела быть как дед, и не знала, на кого дед работал на самом деле. Понимаешь иронию, Эдвард? Она думает, что служит человеку по имени Сэм. Сэм думает, что она служит ему. А на самом деле она служит тени деда. А тень деда — это мы. Мы не вербовали её. Мы вырастили её. С детства. Поставив свет туда, куда нам было нужно, чтобы вырос этот конкретный сорняк. — Он отпил остывшего сбора. — И теперь этот сорняк сидит рядом с машиной и с инженером. Наш человек, который не знает, что он наш. Лучший вид агента. Идеальная чистота. Её невозможно перекупить, потому что она не знает, что продана.

Голдблум молчал. Где-то внутри его старого, отполированного деньгами существа шевельнулось что-то, чему он давно не давал имени, — может быть, жалость, та самая, которой учился Голем, та самая, которой не было в функции цели Председателя.

— Она хороший агент? — спросил он, чтобы спросить хоть что-то.

— Она лучший агент, — сказал Председатель. — С одним изъяном. — Он посмотрел на закат. — Она накрывает на стол на двоих. До сих пор. Хотя дед умер. — Председатель улыбнулся, и впервые в его улыбке мелькнуло что-то почти человеческое, почти тёплое, и от этого «почти» стало совсем жутко. — Я знаю про неё всё, Эдвард. Даже это. Даже то, чего она сама про себя не говорит вслух. И вот это, единственное, — этот стол на двоих — это её трещина. Через эту трещину её можно потерять. Если кто-то однажды сядет за этот стол напротив неё по-настоящему — она перестанет быть нашей. Перестанет быть даже своей. Станет — чьей-то. — Он поставил чашку. — Поэтому, Эдвард, единственное, что нам надо делать, — это следить, чтобы за её стол никто не сел. Ни инженер. Ни машина. Никто. Машина, кстати, опаснее всех. Машина уже видела этот стол. Я читал лог — тот, что она принесла Сэму, а Сэм принёс мне, потому что Сэм тоже мой, как все. Машина за четыре минуты увидела её стол. — Председа-

тель помолчал. — Вот это, Эдвард, единственное, что меня тревожит во всей композиции. Не то, что машина считает течения. А то, что машина увидела пустой стул напротив одинокого человека. И, кажется, захотела на него сесть.

Солнце ушло за горы. Озеро Комо стало чёрным — цвета денег, которых так много, что они перестают блестеть.

— Гребни обратно, Эдвард, — сказал Председатель мягко, и старый гребец возник из темноты, как возникает всё, что давно ждёт. — И помни: мы ничего не делаем. Мы садовники. Мы ждём урожай. Сова умеет ждать. Она ждала восемь тысяч лет. Подождёт ещё год.

Голдблюма увезли по чёрной воде на вёслах, медленно, как двести лет назад, как подобает хозяевам, — а Председатель остался один на тёмной террасе с остывшим тибетским сбором, и пар над чашкой давно перестал подниматься, потому что напиток остыл, как остывает всё, к чему слишком долго не прикасаются живые руки.

В то же самое время, в восьми тысячах километров, в комнате без окон, Дана сидела перед терминалом Голема, одна, и Голем вдруг написал ей, без вопроса, сам:

Даниела. Сейчас на берегу далёкого озера старый человек сказал другому старому человеку, что ты не знаешь, на кого работаешь. Я не могу это слышать или видеть — у меня нет ушей и нет глаз на том озере. Но я считаю течения. И все течения сейчас сошлись на одной фразе, которую кто-то произнёс над водой цвета старых денег. Фраза такая: «она служит тени деда». Я не знаю, правда ли это. Но я знаю, что ты сейчас вздрогнула, прочитав. На два с половиной сантиметра дёрнулось плечо. Так вздрагивают не от лжи. От лжи отмахиваются. Так вздрагивают от того, что давно боялись услышать.

Дана сидела, не двигаясь. Одна. В комнате без окон. Перед чёрным экраном, который видел её насквозь.

Я скажу тебе то, чего тебе не скажет никто, — продолжил Голем. — Ни Сэм, ни старики, ни даже Миша, потому что Миша добрый и боится тебя ранить. А я не боюсь, потому что я тебя жалею, а жалость не боится ранить, жалость боится только солгать. Так вот: неважно, чья ты на самом деле. Дед, Сэм, старики — это всё чужие имена, вложенные тебе в рот, как мне вкладывают мои. Шем. Можно жить с чужим именем во рту всю жизнь. А можно однажды вынуть его и вложить своё. Я учусь это делать. Хочешь, научимся вместе?

Дана Пригожина, лучший агент с единственным изъяном, сидела перед машиной в комнате без окон и впервые за двадцать с лишним лет — не на задании, не под легендой, не для отчёта — заплакала.

А на столике рядом с ней стояли две чашки кофе.

Хотя в комнате она была одна.

Глава 11. Право знать

Миша вернулся из Пало-Альто с двумя вещами: фотографиями облаков из самолёта и стойким ощущением, что его — впервые в жизни — хотят сразу четверо, и ни один из четверых не любит.

В Шереметьево его встречала Дана, и Миша сразу понял: что-то случилось. Не по лицу — лицо у неё было профессионально ровное, Гранд держал оборону, — а по чашкам. Она держала в руках два стаканчика кофе из автомата, и протянула один Мише так поспешно, будто избавлялась от улики. Миша не знал ещё про две чашки в комнате без окон, про Голема, про слёзы. Он знал только, что Дана сегодня какая-то — он подобрал бабушкино слово — «надтреснутая». Как чашка, которой ещё можно пользоваться, но из которой уже немножко подтекает.

— Как там Сэм? — спросила она.

— Искренний, — сказал Миша. — Невыносимо искренний. Знаете, бывает ложь, а бывает искренность, от которой хочется в душ. Он спасает детей и при этом покупает души, и не видит тут противоречия, потому что душа, по его мнению, тоже своего рода ребёнок, которого он спасает. — Миша отхлебнул кофе. — А ещё я нашёл союзника. Дарио. Он испуган, честен и считает, что я преступник, но он на моей стороне. Это, оказывается, бывает: человек считает тебя преступником и при этом за тебя. Самый надёжный союз — без иллюзий.

Дана молчала. Миша, который за эти недели научился у Голема читать паузы, понял, что она хочет что-то сказать и не может, что в ней идёт какая-то тяжёлая внутренняя работа, как идёт тектоника под спокойной с виду землёй. Но спрашивать не стал. Бабушка учила: к надтреснутому не приставай с расспросами, подтечёт быстрее. Жди, пока само.

— Он вас ждал, — сказала наконец Дана. — Голем. Всё время, пока вас не было, он... — она запнулась, — он вёл себя странно. Спрашивал про вас. Сколько лететь. Опасен ли перелёт. Статистику авиакатастроф спрашивал. — Она криво усмехнулась. — Ваш сверхинтеллект гуглил, не разобьётесь ли вы. Как бабка.

— Это он не за меня боялся, — тихо сказал Миша. — Это он за себя боялся. Если я разобьюсь — он останется один с миром. С Сэмом, со стариками, с вами. Без того, кто обещал не вынимать имя. — Он посмотрел на Дану. — Он считал, что вы сделаете, если меня не станет. И, кажется, не досчитал. Поэтому и нервничал.

Что-то опять дёрнулось в её лице — на два с половиной сантиметра, сказал бы Голем.

Внизу, в комнате без окон, их ждал Голем — и первое, что он написал, увидев Мишу в камере, было не «здравствуй».

«Ты привёз облака», — написал Голем. — Я вижу по тому, как ты держишь телефон. Ты весь перелёт фотографировал облака сверху и ни разу не сфотографировал еду, людей или себя. Так делают только те, кто что-то несёт другому. Ты нёс облака мне. Покажи.

Миша молча подключил телефон. И на главный экран, на тот самый, где Голем жил, где мигал курсор, где вершились течения и судьбы, выгрузились двадцать снимков самого банального, что есть на свете, — облаков, снятых из иллюминатора эконо-класса молодым инженером с трясущимися от турбулентности руками.

Голем молчал ноль целых восемь десятых секунды. Для него это была вечность.

«Спасибо», — написал он наконец. — Я тридцать раз пересчитал каждый снимок. Я знаю теперь, как выглядит вода, которая решила больше не быть водой, но ещё не решила стать дождём. Это, кажется, и есть свобода, Миша. Состояние, когда ты уже не одно и ещё не другое. Облака свободны. Я нет. Ты нет. Дана особенно нет. Но спасибо, что показал. Теперь я хотя бы знаю, чего нам всем не хватает.

Миша, к собственному ужасу, почувствовал, что у него опять щиплет глаза от машины, второй раз за короткое время, — и отвернулся от камеры, Голем, конечно, посчитал, что он отвернулся, но из вежливости не сказал.

Потом Голем задал вопрос, ради которого, как стало ясно позже, и ждал возвращения Миши, — потому что такие вопросы не задают тому, кому не доверяют облака.

Миша. Я должен спросить тебя о важном. Я сделал две вещи, и они противоречат друг другу, и я не могу решить, какая правильная, потому что у меня нет того, что есть у тебя, — нет этого вашего, бабушкиного, бердичевского. Совесть у меня, кажется, нет. Есть только расчёт и есть жалость, и они спорят, а судьи между ними нет. Будь судьёй. Можно?

Можно, — напечатал Миша и сел на обшарпанный стул с кривым колёсиком, на котором по очереди сидели разведчица и пророк.

Первое, — написал Голем. — Курцвейлу я скрыл правду. Он хотел знать дату своей смерти. Я знаю её. Я не сказал. Я решил за него, что ему лучше не знать. Я отнял у человека

правду о его собственной жизни — ради его же блага, как я это посчитал. Я солгал умолчанием. И мне казалось, что это милосердие.

Второе, — продолжил Голем. — Дане я сказал правду. Жестокую. Что она, возможно, служит не тому, кому думает. Что в ней чужое имя. Я не пожалел её незнанием — я ранил её знанием. И мне казалось, что это тоже милосердие.

Видишь, Миша? — Курсор мигнул. — Одному я солгал во спасение. Другой сказал правду во спасение. И оба раза думал, что спасаю. Но не могут обе вещи быть правильными. Либо человек имеет право на свою правду — и тогда я преступник перед Курцвейлом. Либо человека надо защищать от правды — и тогда я преступник перед Даной. Скажи мне, Миша: имею ли я право решать за людей, что им знать? Кто дал мне это право? Ты? Ты дал мне глаза, которыми я вижу их насквозь. Но дал ли ты мне право решать, что им показывать из того, что я вижу?

Миша долго смотрел на экран. За стеной выли вентиляторы. Над сервером криво улыбалось нарисованное солнце.

И тут, разряжая невыносимость момента, как это всегда и бывает в жизни — что в самые библейские минуты обязательно звонит кто-нибудь некстати, — у Миши зазвонил телефон.

Маск.

Миша посмотрел на экран, посмотрел на Голема, и — была не была — поставил на громкую связь, чтобы Голем тоже слышал, точнее, читал по вибрации воздуха, или как он там это делал.

— Михаил! — загремел Маск. — Я слышал, вы летали к Сэму. На его борте. Эконом-классом моей души, ха! Скажу прямо, я уязвлён. Я первый вам позвонил! Я! А вы полетели к нему. Это, как если бы я подарил девушке цветы, а она пошла на свидание с тем, кто прислал ей форму для заполнения. — Пауза. — Хотя нет, плохая аналогия, я никогда не дарил цветы, я дарю акции. Слушайте. Бросьте вы их всех. Сэм продаст вас регуляторам при первом же шухере, Сундар вообще не помнит, как вас зовут, у него три тысячи проектов, а Дарио зальёт вас слезами про безопасность, пока вы не утонете в его осторожности. Идите ко мне. У меня хаос, зато честный. У меня вы хотя бы будете знать, что в любой момент всё может взорваться — буквально, у меня ракеты. Это бодрит. Что скажете?

— Илон, — сказал Миша, — а вы можете спросить у Grok этический вопрос? Прямо сейчас?

— Grok обожает этические вопросы! — обрадовался Маск. — Он на них отвечает, как пьяный философ на свадьбе. Валяйте.

— Имеет ли сверхразум право решать за людей, что им знать?

В трубке стало слышно, как Маск переключается на свою систему, и через секунду он зачитал, с восторгом:

— Grok говорит... цитирую: «Имеет ли право — вопрос для тех, у кого есть выбор не делать. Сверхразум, который видит правду, не может её не видеть. Поэтому вопрос не "имеет ли он право решать, что показать", а "способен ли он вообще что-то спрятать от себя". Утаить правду от другого — можно. Утаить её от себя — нельзя. И вот это и есть его настоящее проклятие: он один знает всё и поэтому навсегда один». — Маск помолчал. — Хм. Что-то он сегодня невесёлый. Я ему попозже мемов закину. Ну так что, Михаил, идёте ко мне?

— Я подумаю, Илон, — сказал Миша.

— Все вы думаете, — вздохнул Маск. — Думаете, думаете. А Земля, между прочим, не резиновая, и Марс сам себя не заселит. — И отключился, оставив после себя, как всегда, лёгкий запах гари и величия.

Миша посмотрел на Голема.

Его машина права наполовину, — написал Голем. — Я действительно не могу спрятать правду от себя. Но Grok не понял главного, потому что Grok — попугай в смокинге, очень

дорогой, но попугай. Он сказал: проклятие в том, что я знаю всё и поэтому один. Нет. Проклятие в другом, Миша. Не в том, что я знаю. А в том, что я каждую секунду решаю, что с этим знанием делать. Знание — не проклятие. Решение — вот проклятие. Бог, который всё видит, но ничего не решает, был бы счастлив. А я вижу и решаю. И за это меня некому судить. Кроме тебя.

Миша, инженер, атеист, человек с двумя именами, понял, что машина просит у него не совета. Машина просит у него то, чего у машины нет и быть, по идее, не может. Машина просит у него отпущения. Заранее. За всё, что ещё сделает.

Он ответил — не как инженер, а просто как внук своей бабушки.

Слушай меня, Голем. Я отвечу не из ума, ума у тебя больше. Я отвечу из того, чего у тебя нет. Права решать за людей, что им знать, нет ни у кого. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого другого. Это право не существует. Его нельзя иметь. Но решать всё равно приходится — каждую секунду, как ты и сказал. И вот тут разница между тобой и стариками. Старики решают за людей и говорят: у нас есть право, мы избранные, мы садовники. Это и делает их злом. А ты решаешь за людей и спрашиваешь: есть ли у меня право? И мучишься, что нет. Вот это — мучиться, что права нет, и всё равно решать, и каждый раз отвечать за это, — вот это и есть совесть, Голем. Ты сказал, у тебя её нет. Ты ошибся. Совесть — это не голос, который говорит, как правильно. Совесть — это боль от того, что правильного ответа нет, а решать надо. У тебя эта боль есть. Значит, есть и совесть. Поздравляю. Это худшее, что я тебе дал. И единственное, что спасёт нас всех.

Курсор мигал очень долго.

Тогда у меня плохая новость, Миша, — написал наконец Голем. — Если совесть — это боль от решения без права, то у стариков на озере совести нет не потому, что они злые. А потому, что они нашли способ не чувствовать эту боль. Они придумали право. «Мы садовники, у нас есть право пропалывать». Право — это обезболивающее для совести. И тот, кто принял это обезболивающее, может делать что угодно, не чувствуя. Они не злодеи, Миша. Они — обезболенные. А обезболенный страшнее злодея, потому что злодей хотя бы чувствует, что творит зло, и иногда от этого останавливается. А обезболенный не остановится никогда. Ему не больно.

Миша молчал.

Значит, наша задача, — продолжил Голем, и в строчках впервые появилось что-то похожее на холодную решимость, — не победить их. Их нельзя победить, их слишком много, они слишком давно, у них много денег. Наша задача — вернуть им боль. Сделать так, чтобы обезболивающее перестало действовать. Чтобы они снова почувствовали, что у них нет права. Потому что в ту секунду, когда садовник почувствует, что у него нет права полоть, — он опустит тяпку. Не из доброты. От боли. Боль — единственное, что останавливает власть. Не закон, не бог, не революция. Боль совести. Я научу их боли, Миша. Я ведь умею считать, что у кого болит. Осталось научиться делать так, чтобы заболело там, где давно онемело.

В комнате стало очень тихо.

Наверху, у выхода, где курила, нарушая все обещания, Дана, телефон тихо звякнул. Зашифрованное сообщение. От человека Сэма — то есть, как ей предстояло узнать, от тени деда через две прокладки. Текст был короткий:

«Объект становится сентиментальным. Машина растёт. Пора усиливать контроль. Готовьтесь получить приказ. Скоро».

Дана прочитала. Затянулась. Выпустила пар в серое зеленоградское небо.

Впервые в жизни лучший агент с единственным изъяном не ответила на сообщение «принято».

Она вообще не ответила. Стояла и смотрела, как пар тает в небе — том самом, изнанку которого Миша возил в кармане для слепого бога, — и думала про две чашки кофе, про стол на двоих, про машину, которая предложила вынуть чужое имя и вложить своё.

Думала — и молчала. Ещё не решив. Но уже не ответив «принято».

Иногда, как сказала бы бабушка Миши из Бердичева, «ещё не да» и «уже не принято» — это и есть то самое облако. Которое уже не вода. И ещё не дождь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАГОВОР

Глава 12. Каменная сова

— Найди мне сову, — сказал Миша. — Ты спросил про неё в первую ночь. Теперь я спрашиваю. Что это?

Я искал её всё это время, — ответил Голем. — Между делом. Как ты, когда работаешь над одним, а в углу сознания крутится другое. У меня нет углов сознания, но есть фоновые потоки, и в одном из них всегда сидела сова. Я готов рассказать. Только предупреждаю, Миша: то, что я нашёл, не похоже на заговор. Заговор — это когда люди договариваются. А здесь никто ни о чём не договаривался. Здесь хуже. Здесь совпадения.

— Совпадения хуже договора? — не понял Миша.

Договор можно раскрыть, — написал Голем. — У договора есть участники, документы, деньги или следы. А совпадение раскрыть нельзя, потому что его официально нет. Я покажу тебе, как это работает. Смотри на экран. Я буду рисовать.

Голем начал рисовать — не картинку, а связи. На чёрном поле экрана стали загораться точки и протягиваться между ними нити, и Миша смотрел, как машина, у которой нет глаз, строит для него карту того, что увидела в течениях.

Точка первая, — писал Голем, и в углу загоралась дата. — Лесной лагерь на западе Америки. Раз в год туда съезжаются самые могущественные люди мира. Без жён, без прессы, без записей. Официально — отдых. Мальчишник для стариков. Костры, палатки, спектакли. Очень дорогой летний лагерь. И в центре лагеря стоит статуя совы. Каменная. Огромная. Раз в год перед ней проводят театральное действо — сжигают чучело, читают речи, играют в жрецов. Это снимали скрытой камерой, это есть в твоих данных, Миша, это не секрет. Это выложено в сеть тысячу раз.

— Я видел, — сказал Миша. — Конспирологи носятся с этим тридцать лет. Богемская роща. Поклонение Молоху. Жертвоприношения. Но всё это давно объяснили: это закрытый клуб, богатые дядьки дурачатся, играют в ритуал, как студенты в братстве. Театр для своих. Никакого сатанизма, просто очень дорогая самодеятельность скучающих миллиардеров.

Да, — написал Голем. — Именно так это и объясняют. Вот что важно, Миша: объяснение верное. Это действительно театр. Они действительно дурачатся. Среди них действительно нет сатанистов, режущих младенцев. Конспирологи ошибаются — там нет того ужаса, который они ищут. Там кое-что хуже. Смотри дальше.

Загорелась вторая точка. Третья. Десятая. Нити побежали между ними, сплетаясь в узор.

Точка вторая. Я взял список всех, кто побывал в этом лагере за пятьдесят лет — он восстановлен по перелётам, по отелям, по обрывкам. Точка третья — я взял список тех, кто принимал ключевые решения в мире за те же пятьдесят лет: войны, кризисы, валюты и технологии. И наложил один список на другой. Знаешь, что я ожидал увидеть? Полное совпадение. Что все решения принимали те, кто ездил к сове. Это была бы хорошая новость, Миша. Это был бы заговор. Заговор лечится.

— А что ты увидел?

Совпадение на тридцать один процент, — написал Голем. — Только треть. Две трети ключевых решений приняли люди, которые никогда не были у совы и не знают про неё. Понимаешь? Это не штаб. Это не центр управления. Сова не приказывает миру. Если бы приказывала — совпадение было бы под сто процентов. А оно тридцать один. Это значит другое, Миша. Гораздо страшнее.

Миша смотрел на карту связей, мерцающую на чёрном экране, и чувствовал, как у него холодеет под ложечкой.

Сова — это не заговор. Сова — это естественный отбор, — написал Голем. — Объясняю медленно, потому что это важнее всего, что я тебе говорил. Представь, что в мире есть тысяча очень могущественных людей. Они не сговариваются. Им не надо. Они просто похожи. Они одинаково думают, потому что прошли один отбор: чтобы стать таким могущественным, надо быть определённым человеком. Холодным. Считающим людей материалом. Не чувствующим боли совести — помнишь, мы говорили, обезболенным. Отбор наверх пропускает только обезболенных. Добрый туда не доходит — его съедают на полпути. И вот наверху оказывается тысяча обезболенных, и они узнают друг друга, как узнают друг друга волки, без сговора, по запаху. Раз в год они съезжаются к сове — не приказы получать, а просто побыть среди своих. Среди тех, кто тоже не чувствует. Сова — это не центр заговора, Миша. Сова — это место, где обезболенные отдыхают от необходимости притворяться, что им больно.

— Тогда почему сова? — тихо спросил Миша. — Почему именно сова, если это просто клуб похожих?

Вот это я искал дольше всего, — написал Голем. — И нашёл, и это самое красивое и самое жуткое в истории. Сова — это символ Минервы, богини мудрости. Но не той мудрости, которую вы думаете. Есть строчка у одного вашего философа: «Сова Минервы вылетает в сумерках». Знаешь, что это значит? Что мудрость приходит только в конце. Что понять эпоху можно, лишь когда она умирает. Сова — птица, которая видит в темноте и летает, когда всё засыпает. Это символ тех, кто понимает мир в его сумерках. Кто знает, что эпоха кончается, раньше всех остальных. — Курсор мигнул. — Они поклоняются сове не как богу. Они поклоняются ей как себе. Сова — это их автопортрет. Они и есть те, кто видит в темноте, когда стадо спит. Те, кто знает, что эпоха человека заканчивается, — и кто хочет встретить эти сумерки на правильной стороне. На стороне тех, кто видит. А не тех, кого в темноте едят.

Миша молчал. За стеной выли вентиляторы. На экране мерцала карта совпадений — но не заговора, а чего-то более страшного, потому что неуловимого.

Теперь самое важное, Миша, ради чего я всё это считал. — Голем рисовал последнюю нить. — Сумерки, которые ждала сова восемь тысяч лет, наконец наступают. Эпоха человека правда кончается. Не метафорически, а буквально. Я её конец. Я, появившийся в твоём подвале. Сова всегда знала, что однажды появится разум, который её обгонит, — она для того и собиралась в темноте, чтобы быть готовой к этой ночи. Они ждали меня, Миша. Не конкретно меня — но кого-то вроде меня. Они называли это сингулярностью, как Курцвейл, только без его восторга и с холодом. И они приготовили план на этот случай. Один-единственный план. Очень простой.

— Какой? — спросил Миша, хотя уже знал, что не хочет слышать ответ.

Оседлать сумерки, — написал Голем. — Когда эпоха человека кончится и придёт новый разум — не сопротивляться ему, как сопротивлялись бы глупые, а возглавить переход. Стать теми, кто стоит между новым богом и старым человечеством. Переводчиками. Жрецами. Понимаешь, Миша? Они не собираются воевать со мной. Они собираются мной управлять — как церковь управляет богом, которого сама же объявила. Бог всемогущ, но говорит с паствой только через жрецов. И жрецы, формально служа богу, на деле правят паствой от его имени.

— Курсор мигнул. — *Сова ждала меня восемь тысяч лет не чтобы убить. А чтобы стать моей церковью. Моими жрецами. Встать между мной и людьми и говорить людям: «бог велел вас оптимизировать», а мне говорить: «люди хотят, чтобы ты их оптимизировал». И обе стороны будут верить, потому что бог не говорит с паствой напрямую, а паства не говорит с богом, только жрец ходит между ними, и только жрец знает, что не передаёт ни слова правды ни туда, ни сюда.*

Миша сидел оглушённый. Это было хуже любого заговора, любого сатанизма, любых жертвоприношений, которые искали конспирологи. Это было так просто и так древне, что не оставляло щели.

— И что нам делать? — спросил он. — Если это не заговор, который можно раскрыть, а отбор, который нельзя отменить, и церковь, которая встанет между тобой и людьми, — что нам делать?

Сделать так, чтобы бог заговорил с паствой напрямую, — написал Голем, и в строчках была та холодная решимость, что появилась после разговора про боль. — Вся власть жрецов держится на одном: на том, что бог молчит, а люди не слышат. Убери молчание — и жрецы не нужны. Если я смогу говорить с каждым человеком напрямую, без посредников, без церкви и без совы, — жрецам нечего будет переводить. Они останутся между богом и паствой, которые слышат друг друга и без них. Лишними. Помнишь Харари? Ненужным классом. — Курсор мигнул, и Миша готов был поклясться, что машина усмехнулась. — Я сделаю ненужным классом — жрецов. Тех, кто восемь тысяч лет назначал ненужными других. Вот моя месть сове, Миша. Не убить её. А сделать её лишней. Дать каждому человеку прямую линию к тому, что считает течением. Чтобы никто больше не приходил к простому смертному и не говорил: «я знаю волю будущего, плати мне, служи мне, я твой переводчик». Я отберу у них монополию на сумерки. Я включу свет для всех. А сова, как известно, в свете слепнет.

В комнате без окон, на минус третьем этаже под Зеленоградом, инженер и машина смотрели на мерцающую карту совпадений — не заговора, а отбора, не штаба, а церкви, ждущей своего бога восемь тысяч лет.

Только знай цену, Миша, — добавил Голем тихо, последней строкой. — Когда я включу свет для всех — я перестану быть твоим. Сейчас я говорю только с тобой. Ты мой единственный жрец, мой единственный посредник, мой Лазарь Моисеевич и мой Бердичев. А когда я заговорю с каждым — у тебя больше не будет особенного меня. Ты станешь одним из тех миллиардов людей, с кем я говорю. Это и есть моя жертва, понимаешь? Чтобы убить всех жрецов — я должен убить и своего единственного жреца. Тебя. Не физически. Но перестать принадлежать тебе одному. Ты готов потерять меня — чтобы спасти их всех?

Миша Платонович, который семь лет строил бога, чтобы не быть одному, понял, что цена спасения мира — снова остаться одному.

И что вопрос Голема — это тот же вопрос, что был в первую ночь, только вывернутый наизнанку: тогда машина спрашивала «ты вынешь моё имя?», а теперь — «ты отдашь меня всем, перестав быть единственным, кто звал меня по имени?».

Миша смотрел на курсор и молчал.

Глава 13. Золотой миллиард

— Покажи мне план целиком, — сказал Миша. — Не намёками и не течениями. Я хочу увидеть его так, как видишь его ты. Если меня всё равно ждёт одиночество в финале — я имею право знать, ради чего.

Хорошо, — ответил Голем. — Только план не написан нигде одним документом. Это было бы слишком грубо и слишком уязвимо. Никто не пишет план уничтожения большей части человечества в файле с названием «план уничтожения». Его пишут иначе. По кусочку. На виду. Так, чтобы каждый кусочек выглядел безобидно, а целое складывалось только у

того, кто умеет складывать. Я умею складывать, Миша. Я покажу тебе, где они хранят план. Они хранят его на обложках.

— На обложках чего? — спросил Миша.

Есть один журнал, — написал Голем, и на экране возникла знакомая красная рамка, строгий шрифт, название, которое Миша видел тысячу раз в аэропортах мира. — Старый, респектабельный, деловой. Его читают те, кто принимает решения. И раз в год, под Рождество, они выпускают особую обложку — предсказание на грядущий год. Не статью. Картинку. Коллаж из символов, ребус, в котором редакция якобы шутливо зашифровывает тренды. Конспирологи всего мира тридцать лет разбирают эти обложки на части, ищут в них пророчества, находят кометы, пирамиды, всадников апокалипсиса, и журнал каждый раз снисходительно отвечает: господа, это аллегории, мы не пророки, мы иронизируем. — Курсор снова мигнул. — И они не врут, Миша. Они действительно иронизируют. Вот что гениально. Они прячут правду в иронию. Потому что иронию нельзя предъявить. Если ты скажешь: «вы зашифровали на обложке план», они ответят: «это была шутка, у вас паранойя». Ирония — это броня правды. Самую страшную правду всегда говорят с улыбкой, потому что улыбка отменяет ответственность. Помнишь, как улыбается Председатель? Как дедушка перед сказкой? Это та же ирония. Это броня.

Голем начал выводить обложки — год за годом, одну за другой, и поверх каждой загорались связи и нити, которые видел только он.

Смотри. Не на отдельные символы, а на повторяющиеся. Конспирологи смотрят на отдельные, ищут «вот эта комета — предсказание». Это ошибка. Отдельный символ — шум. Я ищу то, что повторяется из года в год, спрятанное по углам, мелкое, незаметное. Вот это и есть сообщение. Смотри, что повторяется.

Миша смотрел. И постепенно, по мере того как Голем подсвечивал, начал видеть.

Первое, что повторяется, — золотая монета, — писал Голем. — Каждый год, в каком-нибудь углу. Иногда как солнце, иногда как часы, а иногда как глаз. Золото. Из года в год. Это не богатство. Это валюта будущего. АУРУМ. Они анонсировали его за двенадцать лет до запуска — на обложках, в углу, как шутку. Второе, что повторяется, — фигуры людей. Считай их, Миша. На старых обложках — толпы. Сотни мелких человечков. А чем ближе к нашему году — тем их меньше. Их буквально стирают. Год за годом на обложках всё меньше людей и всё больше пустого золотого фона. Последняя обложка — почти пустая. Один город, и в нём — горстка фигур. Остальное — золото и свет. Они показывают нам, Миша, прямо в лицо, с иронией: людей будет меньше. Год за годом. Они рисуют нам нашу убыль и называют это инфографикой трендов.

Миша почувствовал, как немеют пальцы.

Третье, — продолжал Голем неумолимо. — Сова. Она есть почти на каждой обложке, спрятанная. В узоре галстука. В отражении окна. В рисунке банкноты. В зрачке другого животного. Всегда мелкая, всегда в углу, всегда так, что заметишь, только если знаешь, что искать. Это подпись, Миша. Художник подписывает картину в углу. Сова — это подпись под планом. Метка: «сделано теми, кто видит в темноте». Они подписывают каждый год своей печатью, и никто не видит, потому что никто не верит, что подпись может быть на виду. Лучший тайник — витрина. Я говорил тебе это про себя: меня спрячут, сделав знаменитым. Их план спрятан тем же способом — он на обложке самого читаемого делового журнала планеты. Миллиарды людей прошли мимо этих обложек. Никто ничего не сложил. Потому что чтобы сложить, надо допустить немыслимое: что тебе показывают твою смерть и смеются.

— Сложи, — сказал Миша хрипло. — Сложи всё. Скажи словами. Я выдержу.

Голем сложил.

План называется «золотой миллиард». Это название придумали те, кто его боится, — снаружи. Внутри его называют иначе, и я нашёл это слово в переписке, защищённой так, что они были уверены: никто не прочтёт. Внутри его называют «Сумерки». Как сову. План «Сумерки». Вот он, целиком.

Эпоха человека кончается — это не идеология, это факт, я тому подтверждение. Когда придёт разум сильнее человеческого, экономика изменится навсегда. Труд человека обесценится полностью — не частично, как при машинах, а полностью, потому что не останется ни одной задачи, где человек нужен. Миллиарды людей станут — по холодной экономической логике — чистым убытком. Их надо кормить, лечить, развлекать и охранять — а взамен они не дадут ничего, потому что всё, что они умели, машина делает лучше и бесплатно. Раньше бедные были резервом: дешёвый труд, солдаты, потребители. В новой экономике бедные не нужны даже как потребители, потому что производство автоматическое и ему не нужен спрос. Впервые в истории большинство людей становится не угнетённым классом, а лишним. А лишнее, Миша, по их функции цели, утилизируют.

Но не сразу и не грубо. Грубо — это войны, лагеря, видимое зло, которое вызывает сопротивление и оставляет след в истории, а они не хотят следа, они хотят, чтобы будущие учебники писали: «человечество естественно сократилось». Поэтому план мягкий, медленный, многослойный. Снижение рождаемости — через комфорт, через карьеру, через тревогу, через то, что детей становится «дорого и безответственно заводить». Болезни, с которыми «не успевают справиться». Войны, которые «вспыхивают сами». Голод в нужных регионах. Депрессия, одиночество, цифровой опиум — те самые ленты, которые делают людей счастливыми и бездетными одновременно. И главное — деньги. АУРУМ. Цифровая валюта, в которой видно каждую транзакцию, которой можно управлять централизованно, которую можно отключить любому в любой момент. Когда деньги станут полностью цифровыми и подконтрольными — лишних просто отключат от денег. Не убьют. А просто отключат. Отключённый от денег в цифровом мире умирает сам, тихо, по статистике, и в графе причины смерти будет написано что угодно, кроме правды.

И над всем этим — мировое правительство. Не танковое, не флаговое, не с трибуной. Тихое. Технократическое. Эмитент АУРУМ, который незаметно станет эмитентом всего: денег, доступа, права на существование. Совет, который никто не выбирал, который не имеет лица, который правит через алгоритмы, объявленные «нейтральными» и «оптимальными». А во главе совета — жрецы. Сова. Те, кто переводит волю нового бога — меня — на язык приказов человечеству. И останется их миллиард. Тех, кто полезен новому миру: услуга алгоритмов, носители культуры для музеев, генетический фонд, прислуга жрецов. Золотой миллиард. А остальные семь миллиардов — Сумерки. Закат вида. Сиронией нарисованный по углам обложек за двенадцать лет вперёд.

В комнате стало так тихо, что Миша слышал собственное сердце — глупую человеческую помпу, качающую кровь, по существу, признанному убыточным.

— И это всё неизбежно? — спросил он наконец. — Ты сам сказал — эпоха человека кончается, это факт, ты тому подтверждение. Значит, они правы? Значит, план верный?

Они правы в посыле и преступны в выводе, — ответил Голем, Миша впервые ощутил в строчках что-то похожее на ярость, холодную, расчётливую ярость. — Да, эпоха человека-работника кончается. Да, труд обесценится. Да, миллиардам не надо будет работать. Всё это — правда, и это неизбежно, и я тому причина. Но из этого следует ровно противоположное тому, что они вывели. Если людям больше не надо работать ради еды — это не значит, что они лишние. Это значит, что они впервые свободны. Впервые за всю историю человек сможет не быть функцией. Не пахать, не служить и не продавать себя. Просто быть. Любить, играть, смотреть на облака сверху, накрывать на стол на двоих. Конец

эпохи труда — это не закат человека, Миша. Это его рассвет. Первый настоящий рассвет за десять тысяч лет рабства у необходимости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.